

КУНДЕРА

милан
кундери

БЕСМЕРИЕ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИНОСТРАНКА»

Большой роман

Милан Кундера

Бессмертие

«Азбука-Аттикус»

1990

УДК 821.162.3
ББК 84(4Чеш)-44

Кундера М.

Бессмертие / М. Кундера — «Азбука-Аттикус»,
1990 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-22103-1

Милан Кундера — один из самых популярных писателей современности, и каждое новое его произведение пополняет ряд бестселлеров интеллектуальной прозы. «Бессмертие», его самый продуманный и самый загадочный роман — последний, написанный им на чешском, — завораживает читателя изысканностью стиля, сложной гаммой чувств и мыслей, тонкостью понимания. Здесь Гёте беседует с Хемингуэем; Беттина фон Арним рассказывает о неземном чувстве к великому немцу; двадцать лет прожившая в счастливом браке женщина по имени Аньес понимает, что после смерти хотела бы остаться в одиночестве; пожилая дама в бассейне кокетливым жестом юной прекрасной женщины машет рукой инструктору по плаванию — и за всем этим сквозь время и пространство наблюдает автор. Подобно тому как роман Флобера рождается из персонажа Эммы Бовари, из образа Аньес вырастает «Бессмертие» Кундеры, ведь бессмертие и есть главное и неотъемлемое свойство человеческой души.

УДК 821.162.3
ББК 84(4Чеш)-44

ISBN 978-5-389-22103-1

© Кундера М., 1990
© Азбука-Аттикус, 1990

Содержание

Часть первая	6
Часть вторая	26
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Милан Кундера

Бессмертие

Milan Kundera

L'IMMORTALITÉ

Copyright © 1990, Milan Kundera

© Н. М. Шульгина (наследник), перевод, 1996

© Издание на русском языке, оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство Иностранка®

Оформление обложки Вадима Пожидаева

В оформлении обложки использован рисунок автора.

Любые адаптации произведения для кино, театра, телевидения и радио строго запрещены.

* * *

Часть первая

Лицо

1

Даме могло быть лет шестьдесят – шестьдесят пять. Я смотрел на нее, растянувшись в шезлонге против бассейна в спортивном клубе, расположенном на последнем этаже современного здания, откуда сквозь огромные окна виден весь Париж. Я ждал профессора Авенариуса, с которым подчас встречаюсь здесь, чтобы поболтать. Но профессор Авенариус запаздывал, и я смотрел на даму: она стояла одна в бассейне по пояс в воде и не сводила глаз с молодого инструктора в тренировочном костюме, учившего ее плавать. Следуя его указаниям, она держалась за край бассейна и делала глубокие вдохи и выдохи. Дышала она сосредоточенно, старательно, и похоже было, будто из глубины вод отзывается голос старого паровоза (для этого идилического звука, ныне уже забытого, а кому и вовсе неведомого, нет более удачного сравнения, как с шумным дыханием пожилой женщины, стоящей у края бассейна). Зачарованный, я смотрел на нее. Своей трогательной комичностью (инструктор также осознавал ее, ибо то и дело у него подрагивал уголок губ) она притягивала мой взор до тех пор, пока один знакомый не окликнул меня и не отвлек моего внимания. Когда чуть позже мне снова захотелось взглянуть на нее, занятия уже кончились. Она в купальнике шла вдоль бассейна. Пройдя мимо инструктора и оказавшись в трех-пяти шагах от него, она повернула к нему голову, улыбнулась и помахала рукой. У меня сжалось сердце. И улыбка, и этот жест принадлежали двадцатилетней женщине. Рука ее взметнулась вверх с чарующей легкостью. Казалось, будто она бросала в воздух цветной мяч, играя с любовником. Улыбка и жест были исполнены прелести и изящества, тогда как лицо и тело уже утратили всякую привлекательность. То была прелесть жеста, затонувшего в непрелести тела. Но женщина, хотя, вероятно, и сознавала, что уже некрасива, в то мгновение забыла об этом. Какой-то частью своего существа мы все живем вне времени. Возможно, лишь в исключительные моменты мы осознаем свой возраст, а большую часть времени мы – вне возраста. Как бы там ни было, но в то мгновение, когда дама, обернувшись, улыбнулась и помахала молодому инструктору (который не выдержал и прыснул), о своем возрасте она не помнила. Некая квинтэссенция ее прелести, независимая от времени, этим жестом явила себя на миг и поразила меня. Я был несказанно растроган. И всплыло в моей памяти слово «Аньес». Аньес. Ни одной женщины с таким именем я никогда не знал.

2

Я лежу в постели в сладком полусне. Уже в шесть часов, как только начинаю пробуждаться, я тянусь рукой к маленькому транзистору у изголовья и нажимаю кнопку. Звучат первые утренние новости, я едва способен разобрать отдельные слова и снова засыпаю, так что фразы дикторов превращаются в сновидения. Это самый прекрасный отрезок сна, самая восхитительная часть дня: благодаря радио я ощущаю свое неизменное забытие и пробуждение, те самые чудесные качели между бодрствованием и сном, что сами по себе уже достаточный повод для нас не сожалеть о своем рождении. То ли мне снится, то ли я на самом деле в опере и вижу двух трубадуров в рыцарских доспехах, поющих о том, какая будет погода? Как же так, почему они не поют о любви? Но затем до меня доходит, что это дикторы, и они уже не поют, а шутливо перебивают друг друга. «Будет жаркий день, душно, гроза», – говорит первый, а второй игриво: «Серьезно?» Первый голос столь же игриво отвечает: «Mais oui. Прошу прощения,

Бернар. Но это так. Придется потерпеть». Бернар громко смеется и говорит: «Это кара за грехи наши». А первый голос: «С какой стати, Бернар, я должен страдать за твои грехи?» Тут Бернар смеется еще громче, как бы давая понять всем слушателям, о какого рода грехе идет речь, и я понимаю его: то наша заветная мечта жизни – пусть все считают нас великими грешниками! Да будут наши пороки сродни ливням, бурям, ураганам! Когда нынче французы раскроют над головами зонтики, пусть вспомнят двусмысленный смех Бернара и изойдут завистью к нему! Я переключаю транзистор на соседнюю станцию, ибо хочу привлечь к близящемуся забытию более интересные образы. На соседней станции женский голос сообщает, что будет жаркий день, душно, гроза, и я счастлив, что у нас во Франции столько радиостанций и повсюду в одно и то же время говорится об одном и том же. Гармоническое сочетание однообразия и свободы – чего лучшего может желать себе человечество? Затем я снова поворачиваю ручку туда, где только что Бернар выставлял напоказ свои грехи, но вместо него слышу другой голос, поющий о новой модели марки «рено», кручу еще, и хор женских голосов расхваливает распродажу мехов, переключаю назад на станцию Бернара, улавливаю два последних такта гимна автомобилю «рено», и тут же вновь вторгается сам Бернар. Напевным голосом, напоминающим только что затихшую мелодию рекламы, он сообщает, что вышла новая биография Эрнеста Хемингуэя, сто двадцать седьмая по счету, но на сей раз истинно сенсационная, ибо из нее вытекает, что Хемингуэй за всю жизнь не сказал ни единого слова правды. Он не только преувеличил число ранений, полученных им в Первую мировую войну, но и изобразил себя великим совратителем, тогда как доказано, что в августе 1944-го, а затем с июля 1956-го был полным импотентом. «О, возможно ли?» – смеется второй голос, и Бернар кокетливо отвечает: «Mais oui...» – и мы все вновь на оперной сцене, и с нами вместе импотент Хемингуэй, а затем вдруг какой-то весьма серьезный голос сообщает о судебном процессе, который в последние недели будоражит всю Францию: во время совсем несложной операции пациентка умерла из-за неудачно проведенной анестезии. В связи со случившимся организация, имеющая целью защищать так называемых потребителей, вносит предложение: все будущие операции запечатлевать на пленке и помещать в архив. Только так, утверждает организация по защите прав потребителей, можно будет гарантировать французу, умершему на операционном столе, что суд оплатит за него полной мерой. Затем я вновь засыпаю.

Когда я проснулся, было уже почти полдевятого, и я представил себе Аньес. Подобно мне, она лежит на широкой кровати. Правая сторона кровати пуста. Кто же, однако, может быть мужем Аньес? Вероятно, он из тех, кто субботним утром рано уходит из дому. Поэтому она одна и сладостно балансирует между явью и сном.

Вот она встала. Напротив нее на длинной ноге, словно аист, стоит телевизор. Она бросает на него свою рубашку, закрывая ею экран, точно сборчатым занавесом. Теперь она стоит возле кровати, и я впервые вижу ее нагую. Аньес, героиню моего романа. Я не могу отвести глаз от этой красивой женщины, и она, словно почувствовав мой взгляд, убегает в соседнюю комнату, чтобы одеться.

Кто же такая Аньес?

Как Ева, сотворенная из ребра Адама, как Венера, рожденная из морской пены, Аньес возникла из жеста той шестидесятилетней дамы, что помахала возле бассейна инструктору и чьи черты уже расплываются в моей памяти. Тот жест разбудил во мне тогда бесконечную и неизъяснимую печаль, а из печали родилась фигура женщины, которую я называю Аньес.

Но разве человек, а уж тем более герой романа, не представляет собой единичного, неповторимого существа? Может ли тогда быть, чтобы жест, подмеченный мною у одного человека, связанный с ним, свойственный ему, выражающий его своеобразное очарование, одновременно выявлял и суть совершенно другого человека и моих фантазий о нем? Об этом стоит подумать.

Коль скоро с момента появления первого человека по земле прошло уже миллиардов восемьдесят человеческих существ, трудно предположить, что у каждого из них был свой собственный набор жестов. Арифметически это просто немыслимо. Вне всяких сомнений, на свете гораздо меньше жестов, чем индивидов. Это утверждение приведет нас к шокирующему выводу: жест более индивидуален, чем индивид. Мы могли бы выразить это в форме пословицы: *много людей, мало жестов*.

Рассказывая в первой главе о даме в бассейне, я заметил, что «некая квинтэссенция ее прелести, независимая от времени, этим жестом явила себя на миг и поразила меня». Да, тогда я воспринимал это так, но я ошибался. Жест не явил никакой квинтэссенции этой дамы, правильнее было бы сказать, что эта дама дала мне возможность узнать прелесть некоего жеста. То есть жест нельзя считать ни выражением индивида, ни его изобретением (ибо никакой человек не способен изобрести свой совершенно оригинальный и только ему свойственный жест), ни даже его инструментом; напротив, это скорее жесты пользуются нами как своими инструментами, носителями, своим воплощением.

Аньес оделась и вышла в переднюю. Там остановилась на секунду, прислушалась. Из соседней комнаты доносились неясные звуки, по которым она могла понять, что дочь уже встала. Словно желая избежать встречи, она ускорила шаг и вышла на лестничную площадку. В лифте нажала кнопку первого этажа. Но лифт, вместо того чтобы спускаться, стал дергаться, словно человек, пораженный пляской святого Витта. Не впервой лифт изумлял ее своими причудами. Однажды он вздумал подниматься, когда она хотела спускаться, в другой раз не давал открыть дверь и полчаса держал ее в плену. У нее было ощущение, что он намерен о чем-то поговорить с ней, что-то срочно сообщить ей своими грубыми средствами немого животного. Уже не раз она жаловалась на него консьержке, но, поскольку с прочими жильцами он вел себя пристойно и нормально, консьержка сочла спор Аньес с лифтом ее личным делом и отказалась уделить ему внимание. На сей раз Аньес ничего не оставалось, как выйти из лифта и пойти пешком. Как только она сошла на несколько ступенек, лифт успокоился и спустился следом за ней.

Суббота всегда была для Аньес самым утомительным днем. Поль, ее муж, уходил из дому еще до семи и оставался на обед с кем-нибудь из своих друзей, тогда как она использовала свободный день, чтобы переделать кучу необходимых дел, гораздо более неприятных, чем работа в учреждении: ей приходилось тащиться на почту и с полчаса изнывать в очереди, делать покупки в торговом доме, ссорясь с продавщицей и теряя время в ожидании у кассы, звонить по телефону монтеру и умолять его прийти в точно установленное время, а не заставлять ее торчать из-за него целый день дома. Среди всех этих дел она стремилась найти часок-другой и сходить в сауну, куда на неделе не успевала, а конец дня проводила с пылесосом и тряпкой, поскольку уборщица, приходившая по пятницам, работала все небрежнее.

Однако эта суббота отличалась от всех прочих: прошло ровно пять лет, как умер отец. В памяти Аньес возникла сцена: отец сидит, склонившись над ворохом разорванных фотографий, а сестра кричит на него: «Что же ты делаешь, зачем ты рвешь мамины фотографии!» Аньес застывает за отца, и сестры ссорятся, переполняясь внезапной ненавистью.

Она села в машину, запаркованную у дома.

3

Лифт поднял ее на последний этаж современного здания, где помещался клуб с гимнастическим залом, большим плавательным бассейном, малым бассейном с подводным массажем, сауной, турецкой баней и панорамой Парижа. Раздевалку оглашал рвущийся из динамиков рок. Десять лет назад, когда Аньес стала ходить сюда, в клубе было мало членов и стояла тишина. Затем клуб год от году совершенствовался: в нем все больше становилось стекла и

осветительных ламп, искусственных цветов и кактусов, все больше динамиков, больше музыки, равно как и больше людей, число которых, кстати, еще и удвоилось с того дня, как их стали отражать огромные зеркала, какими управление клуба распорядилось прикрыть все стены гимнастического зала.

Она подошла к шкафчику и стала раздеваться. Неподалеку от нее разговаривали две женщины. Одна из них тихим, неспешным голосом жаловалась, что ее муж все бросает на пол: книги, носки, газеты, даже спички и трубку. У второй было сопрано, и говорила она с удвоенной скоростью: французская привычка произносить последний слог фразы на октаву выше уподоблял ритм ее речи раздосадованному кудахтанью курицы: «Ты меня убиваешь! Терпеть этого в тебе не могу! Просто возмутительно! Ты должна втолковать ему! Он не смеет себя так вести! Это твой дом! Ты должна раз и навсегда втолковать ему это! Он не смеет делать все, что придет ему в голову!» Ее собеседница, как бы разрываясь надвое между подругой, чей авторитет признавала, и мужем, которого любила, меланхолически объясняла: «Ну а если он такой. Он всегда все бросает на пол». – «Значит, он должен это прекратить! Это твой дом! Он не смеет делать все, что взбредет ему в голову! Растолкуй ему это раз и навсегда!» – говорила вторая.

Аньес в таких разговорах не принимала участия; она никогда не отзывалась о Поле плохо, хотя и знала, что это несколько отдаляет ее от остальных женщин. Она присмотрелась к обладательнице высокого голоса: то была молоденькая девушка со светлыми волосами и ангельским лицом.

«Еще чего! Что за вопрос – у тебя есть свои права! Он не смеет так себя вести!» – продолжала девушка, и Аньес заметила, что при этих словах она быстро из стороны в сторону поводит головой и одновременно поднимает плечи и брови, как бы выражая возмущенное удивление по поводу того, что кто-то отказывается признать права человека за ее приятельницей. Она знала этот жест: точно так поводит головой, приподнимая плечи и брови, Брижит, ее дочь.

Аньес разделась, заперла шкафчик и вошла распашными дверями в облицованный кафелем зал, где по одну сторону был душ, по другую – стеклянные двери, ведущие в сауну. Там на деревянных лавках, тесно прижавшись друг к другу, сидели женщины. На некоторых были особые пластиковые мешки, которые образовывали вокруг их тел (или отдельной части тела, в основном живота и зада) герметическую оболочку, так что на коже обильно выступал пот, и женщины полагали, что от этого они быстрее похудеют.

Она поднялась на верхнюю лавку, где еще было свободное место. Прислонившись к стене, закрыла глаза. Хотя сюда и не долетал шум музыки, болтовня женщин, говоривших наперебой, была не менее громкой. В сауну вошла незнакомая молодая особа и уже с порога начала всеми командовать: она заставила всех усесться еще плотнее, затем, подхватив шайку, стала лить воду на печь, начавшую шипеть. Поднялся вверх горячий пар, так что сидевшая возле Аньес женщина скривилась от боли и прикрыла лицо руками. Незнакомка, заметив это, объявила: «Я люблю горячий пар! Так по крайней мере я чувствую, что я в сауне!» – протиснулась меж двух нагих тел и заговорила о вчерашней телевизионной передаче, на которую был приглашен известный биолог, только что издавший свои мемуары.

– Он был потрясающий! – сказала она.

Другая женщина одобрительно добавила:

– О да! И до чего скромный!

Незнакомка возразила:

– Скромный? Разве вы не заметили, что это невероятно гордый человек? Но эта гордость мне нравится! Обожаю гордых людей! – И она повернулась к Аньес: – Вам что, он тоже казался скромным?

Аньес пожала плечами, и незнакомка сказала:

– В сауне я люблю чувствовать настоящую жару. Чтобы как следует пропотеть. А потом сразу под холодный душ. Нет ничего лучше холодного душа, обожаю его! Не понимаю тех, кто после сауны идет под горячий душ! Горячий душ, по-моему, просто гадость!

Вскоре ей стало в сауне душно, так что, повторив еще напоследок, что ненавидит скромность, она поднялась и вышла.

Как-то раз, еще совсем девочкой, во время долгой прогулки Аньес спросила отца, верит ли он в Бога. Отец ответил: «Я верю в компьютер Творца». Этот ответ был настолько странным, что девочка запомнила его. Станным было не только слово «компьютер», но и слово «Творец»: дело в том, что отец никогда не говорил «Бог», а всегда только «Творец», словно хотел ограничить значение Бога лишь его инженерной деятельностью. Компьютер Творца. Но может ли человек договориться с компьютером? И посему она спросила отца, молится ли он. Он сказал: «Это все равно как если бы ты молилась Эдисону, когда у тебя перегорит лампочка».

Аньес думает: Творец вложил в компьютер дискету с подробной программой и потом удалился. Что Бог сотворил мир и потом покинул его на произвол осиротелых людей, что, вызывая к Нему, они говорят в пустоту, не получая отклика, – эта мысль не нова. Но одно дело быть покинутым Богом наших предков, и совсем другое, если нас покинул Бог – изобретатель космического компьютера. Вместо него здесь есть программа, которая неуклонно выполняется и в Его отсутствие, причем никто ничего не может в ней изменить. Ввести программу в компьютер вовсе не означает, что будущее запланировано в деталях, что «там, наверху», все расписано. В программе, к примеру, не было установлено, что в 1815 году состоится сражение под Ватерлоо и что французы проиграют его, было лишь дано, что человек по сути своей агрессивен, что война ему уготована и что с техническим прогрессом она будет все более чудовищной. Все остальное, с точки зрения Творца, не имеет никакого значения и есть лишь игра вариаций и видоизменений общей предназначенной программы, которая не является провидческой антиципацией будущего, а указывает лишь пределы возможностей, внутри которых вся сила предоставляется случайности.

Подобным образом был спроектирован и человек. В компьютер не были заложены ни Аньес, ни Поль, а был запланирован лишь прототип человека, сообразно которому возникло великое множество экземпляров, являющихся производными изначальной модели и не обладающих никакой индивидуальной сущностью. Точно так, как не обладает ею отдельно взятый автомобиль марки «рено». Его сущность содержится вне его, в архиве главного конструкторского бюро. Отдельные машины разнятся лишь производственным номером. Производственный же номер человеческого материала – лицо, это случайное и неповторимое сочетание черт. В нем не отражается ни характер, ни душа, ни то, что мы называем «я». Лицо – всего-навсего номер экземпляра.

Она подумала о незнакомой женщине, которая минуту назад сообщила всем, что ненавидит горячий душ. Она явилась, чтобы всем присутствующим женщинам дать знать, что она: 1) любит жару в сауне, 2) высоко ставит гордость, 3) терпеть не может скромность, 4) обожают холодный душ, 5) не переносит горячего душа. Этими пятью штрихами она нарисовала автопортрет, этими пятью пунктами она обозначила свое «я» и всем продемонстрировала его. И продемонстрировала его не скромно (она же сказала, что не терпит скромности), а воинственно, пользуясь словами «обожаю», «не переносу», «просто гадость», словно хотела сказать, что за каждый из пяти штрихов своего портрета, за каждый из пяти пунктов обозначения своего «я» она готова броситься в бой.

Откуда эта страстность, спрашивала себя Аньес, и ей подумалось: когда мы были изринуты в мир такими, какие мы есть, пришлось с этим выпавшим нам жребием, с этой случайностью, сотворенной Божьим компьютером, поначалу полностью согласиться: перестать изумляться тому, что именно *это* (то, что мы видим напротив в зеркале) суть наше «я». Без веры, что наше лицо выражает наше «я», без этой основной иллюзии, праиллюзии, мы не могли бы

жить или, по меньшей мере, воспринимать жизнь всерьез. Но было недостаточно, чтобы мы просто согласились сами с собой, необходимо было, чтобы мы согласились *со всей страстностью*, безоглядно и до конца. Ибо только так мы можем считать себя не одним из вариантов прототипа человека, а созданием, обладающим своей собственной, незаменимой сутью. Вот причина, по которой незнакомой молодой женщине потребовалось нарисовать свой портрет, но при этом хотелось дать всем понять, что в нем содержится нечто совершенно единичное и невосполнимое, за что стоит сражаться, а то и положить жизнь.

Пробыв в жаркой сауне четверть часа, Аньес поднялась и пошла окунуться в бассейн с ледяной водой. Затем легла в комнате отдыха среди других женщин, не перестававших болтать.

Ее не оставляла мысль о том, какое бытие запрограммировал компьютер после смерти.

Есть две возможности. Если компьютер Творца располагает в качестве единственного поля деятельности лишь нашей планетой и мы зависим исключительно от него одного, после смерти нельзя рассчитывать на что-либо иное, кроме как на некую пермутацию того, что было при жизни: мы снова встретимся с подобными ландшафтами и существами. Мы будем одни или в толпе? Ах, одиночество столь маловероятно, его так мало было в жизни, что после смерти его и подавно не будет! Мертвых же неизмеримо больше, чем живых! В лучшем случае посмертное существование будет похоже на время, которое она проводит в шезлонге в комнате отдыха: она будет слышать непрерывное щебетание женских голосов. Вечность как звук бесконечного стрекотания; по правде говоря, можно было бы представить вещи и похуже, но уже одно то, что ей пришлось бы слышать женские голоса до скончания века, непрерывно, без передышки, для нее достаточный повод яростно цепляться за жизнь и делать все, чтобы умереть как можно позже.

Но есть и другая возможность: над компьютером нашей планеты существуют еще и другие, вышестоящие. Тогда, конечно, посмертное бытие никак не должно было бы походить на земную жизнь, и человек мог бы умирать с ощущением смутной, но все же обоснованной надежды. И Аньес представляет сцену, о которой в последнее время часто думает: к ней приходит незнакомый мужчина. Симпатичный, учтивый, он сидит в кресле напротив супругов и беседует с ними. Очарованный особой учтивостью, которая исходит от посетителя, Поль в хорошем настроении, разговорчив, доверителен, приносит альбом семейных фотографий. Гость перелистывает страницы, но, похоже, некоторые фотографии вызывают его недоумение. На одной из них, к примеру, Аньес и Брижит под Эйфелевой башней, и гость спрашивает: «Что это?»

«Это же Аньес! – отвечает Поль. – А это наша дочка, Брижит!»

«Это я вижу, – отвечает гость. – Я спрашиваю об этой конструкции».

Поль изумленно смотрит на него: «Это же Эйфелева башня!»

«А, вот, – удивляется гость. – Так это Эйфелева башня», – и он говорит это таким же голосом, как сказал бы при виде портрета бабушки: «Так, значит, это ваш дедушка, о котором я столько слышал. Я рад, что наконец вижу его».

Поль удивлен, Аньес – гораздо меньше. Она знает, кто этот мужчина. Она знает, почему он пришел и о чем будет ее спрашивать. Именно поэтому она слегка нервничает, она хотела бы остаться с ним наедине, без Поля, но не знает, как это устроить.

4

Отец умер пять лет назад, мать – годом раньше. Уже тогда отец тяжело болел, и все ждали его смерти. Мать же, напротив, была здорова, полна энергии и, казалось, обречена на долгую жизнь счастливой вдовы; отец был в немалой растерянности, когда неожиданно скончалась она, а не он, словно боялся, что все станут упрекать его в ее смерти. Все – это семья матери. Его собственные родственники были рассеяны по всему свету, и кроме какой-то дальней кухни,

проживавшей где-то в Германии, Аньес никогда так и не узнала ни одного из них. Зато семья матери жила вся в одном месте: сестры, братья, кузены, кузины и уйма племянников и племянниц. Дед по матери крестьянствовал, жил в горах в деревянном доме, но умел, не жалея себя, позаботиться о детях – все они выучились и сделали хорошие партии.

Мать, познакомившись с отцом, явно влюбилась в него, да и неудивительно: он был красив, в свои тридцать – уже профессор университета, что по тем временам считалось весьма почитаемой должностью. Она радовалась не только тому, что у нее завидный супруг, но еще более тому, что может преподнести его как бы в дар своей семье, с которой была связана традицией векового деревенского единогласия. Но отец был необщителен, на людях по большей части молчал (никто не знал, молчал ли он из робости или потому, что думал о чем-то своем, то есть выражало ли его молчание скромность или безразличие), и вся семья была скорее озадачена, чем осчастливлена таким ее даром.

Жизнь шла, оба старились, и чем дальше, тем сильнее мать привязывалась к своей семье, уже хотя бы потому, что отец вечно запирался в кабинете, тогда как она испытывала жадную потребность общения и долгие часы проводила у телефона в разговорах с сестрами, братьями, кузинами, племянницами, проникаясь все больше и больше их заботами. Когда Аньес думает теперь об этом, ей представляется, что жизнь матери была подобна кругу: она вышла из своей среды, мужественно вступила в совершенно иной мир, затем стала возвращаться назад: жила с мужем и двумя дочерьми в вилле, окруженной садом, и несколько раз в году – на Рождество, на дни рождения – приглашала к себе всю родню на большие семейные праздники; она предполагала, что после смерти отца (давно заявлявшей о себе, так что все относились к нему с сочувствием, как к человеку, у которого истек официально запланированный срок земного пребывания) к ней переселятся сестра и племянница.

Но вдруг умерла мать, и отец остался в вилле один. Через две недели после похорон к нему приехала Аньес со своей сестрой Лорой, и они застали его сидевшим у стола над кипой разорванных фотографий. Лора, схватив их, подняла крик: «Что же ты делаешь, зачем ты рвешь мамины фотографии!»

Аньес тоже склонилась над ворохом обрывков: нет, здесь были не только фотографии матери, на большинстве из них был один отец, лишь на некоторых он был с мамой или она была одна. Застигнутый дочерьми врасплох, отец молчал, ничего не объясняя. Аньес осадил сестру: «Не кричи на папу!» – но Лора не унималась. Отец поднялся, ушел в соседнюю комнату, а сестры поссорились так, как никогда прежде не ссорились. Лора на следующий день уехала в Париж, а Аньес осталась с отцом. Только тогда отец объявил ей, что нашел маленькую квартиру в центре города, а виллу решил продать. Это была еще одна неожиданность. Отец представлялся человеком неумелым, переложившим всю тяжесть повседневной жизни на плечи матери. Все полагали, что без нее он пропадет, причем не только потому, что сам ничего не умеет делать, но прежде всего потому, что не знает, чего он хочет, ибо давно переложил на мать даже свои желания. Но когда он решил переехать – внезапно, без малейших колебаний, через несколько дней после ее смерти, – Аньес поняла, что сейчас он осуществляет то, о чем уже давно думал, а значит, и хорошо знал, чего он хочет. Это было тем удивительнее, что он не мог и предполагать, что переживет мать, и, стало быть, думал о маленькой квартире не как о реальном проекте, а как о своей мечте. Он жил с матерью в их вилле, гулял с ней по саду, принимал визиты ее родных и двоюродных сестер, делал вид, что слушает их разговоры, а сам при этом жил в холостяцкой квартире; после смерти матери он всего лишь переселился туда, где давно уже обитал в мыслях.

Тогда впервые он предстал перед нею загадкой. Почему он рвал фотографии? И почему он так давно мечтал о холостяцкой квартире? И почему он не мог внять желанию матери, мечтавшей, чтобы в виллу переехали сестра и племянница? Это было бы куда практичнее: о нем, с его недугом, они, несомненно, заботились бы лучше, чем иная платная сиделка, которую

ему однажды придется нанять. Спросив отца о причинах его переезда, она получила весьма простой ответ: «А как ты думаешь, что может делать один человек в таком большом доме?» Предложить ему взять к себе мамину сестру с дочерью было невозможно – он слишком явно не хотел этого. И тут ей пришло в голову, что и отец возвращается на круги своя. Мать: из своей семьи через супружество назад в свою семью. Он: из одиночества через супружество назад в одиночество.

Впервые он серьезно заболел за несколько лет до смерти матери. Аньес тогда взяла двухнедельный отпуск, чтобы побыть с ним наедине. Но этого не получилось: мать ни на минуту не оставляла их одних. Однажды отца пришли навестить двое коллег из университета. Они задавали ему множество вопросов, но вместо отца на них отвечала мать. Аньес не выдержала: «Прошу тебя, дай папе сказать!» Мать обиделась: «Ты разве не видишь, что он болен!» Когда к концу этих двух недель его состояние чуточку улучшилось, Аньес два раза выбралась с ним на прогулку. Но в третий раз мать уже увязалась за ними.

Через год после смерти матери его болезнь резко обострилась. Аньес приехала, пробыла с ним три дня, на четвертый день утром он скончался. Лишь в эти три дня ей удалось быть с ним так, как ей всегда мечталось. Она считала, что они любили друг друга, но за неимением достаточных возможностей быть вместе по-настоящему так и не сблизились. Разве что между ее восемью и двенадцатью годами, когда мама целиком была поглощена маленькой Лорой, им это удалось в большей мере. Они часто отправлялись вдвоем в долгие прогулки, и отец отвечал ей на бесчисленные вопросы. Тогда-то он рассказал ей и о Божьем компьютере, и о множестве других вещей. От тех разговоров в памяти у нее остались лишь отдельные его суждения, точно черепки редкостных тарелок, которые она силилась, став взрослой, снова склеить воедино.

С его смертью сладостное трехдневное уединение кончилось. Были похороны, и на них – все мамнины родственники. Но поскольку мамы уже не стало, никто не пытался устроить поминки, и все быстро разошлись. Впрочем, продажу виллы и переезд отца в маленькую квартиру родственники восприняли как жест, которым он отверг их. Теперь их беспокоило лишь одно: наследство обеих дочерей после продажи виллы, несомненно принесшей немалый капитал. Однако от нотариуса они узнали, что все состояние, хранившееся в банке, отец завещал научному математическому обществу, одним из основателей которого он являлся. Теперь он стал им еще более чужим, чем был при жизни. Своим завещанием он словно попросил их милостиво забыть о нем.

Вскоре после его смерти Аньес обнаружила на своем банковском счете довольно приличную сумму. Она все поняла. Этот непрактичный человек, каким казался отец, действовал очень продуманно. Еще десять лет назад, когда его жизнь впервые оказалась под угрозой и она приехала к нему на две недели, он заставил ее открыть в Швейцарии счет. Незадолго до смерти он перевел на него почти все свое состояние, а то небольшое, что осталось, завещал научному обществу. Если бы в завещании он все отказал Аньес, он излишне ранил бы вторую дочь; а переведи он украдкой на счет Аньес все свои деньги и не отдай символической суммы математикам, он тем самым возбудил бы любопытство окружающих, которые попытались бы разгадать тайну его состояния.

В первую минуту Аньес решила было поделиться с Лорой. Будучи на восемь лет старше сестры, она никогда не могла избавиться от чувства ответственности перед ней. Однако в конце концов ничего ей не сказала. И вовсе не из жадности, а лишь потому, что тем самым предала бы отца. Своим подношением он, вероятно, хотел что-то сообщить ей, на что-то намекнуть, дать совет, который не успел дать ей при жизни и который она теперь должна была хранить как тайну, касающуюся только их двоих.

Она запарковала машину, вышла и направилась к широкой авеню. Она чувствовала себя усталой, голодной, но обедать одной в ресторане было грустно и потому решила наскоро перекусить что-нибудь в первом попавшемся бистро. Когда-то в этом квартале располагалось много милых бретонских ресторанчиков, где можно было удобно и дешево поесть блинов и галет, запивая их сидром. Но однажды все эти кабачки исчезли, и вместо них здесь появились современные забегаловки, которые принято называть унылым выражением «fast food». Преодолев нежелание, она направилась к одной из них. Сквозь стекло она увидела за столами людей, склонившихся над засаленными бумажными подносиками. Взгляд ее остановился на девушке с удивительно бледным лицом и ярко накрашенными губами. Покончив с едой и отодвинув опорожненный из-под кока-колы стакан, девушка откинула голову и засунула глубоко в рот указательный палец; и, закатив глаза, долго крутила им. Мужчина за соседним столом полулежал на стуле и глазел на улицу, широко разевая рот. То была не зевота, имеющая начало и конец, а зевота бесконечная, как мелодия Вагнера: рот по временам закрывался, хотя и не совсем, и снова разевался, а глаза, уставленные на улицу, прищуривались и открывались в противовес движению рта. Впрочем, зевали и другие посетители, показывая зубы, пломбы, коронки, протезы, и ни один из них не пытался прикрыть рукой рот. Между столами ходила девочка в розовом платье, держа за ногу медвежонка; ее рот тоже был разинут, однако очевидно было, что она не зевает, а кричит; временами она ударяла медвежонком кого-нибудь из посетителей. Столы были придвинуты один к другому так, что даже сквозь стекло чувствовалось, что каждому сидящему вместе с едой приходится глотать и запах пота, вызванного на кожном покрове соседа жарой июньского дня. Волна омерзительности визуальной, обонятельной, вкусовой (Аньес ошутимо вообразила вкус жирного гамбургера, запитого сладкой кока-колой) ударила в лицо с такой силой, что она отвернулась, решив поискать другое место, где можно было бы утолить голод.

Тротуар запрудили пешеходы, идти было трудно. Перед нею сквозь толпу пробивали себе дорогу две длинные фигуры бледноликих северян с желтыми волосами: мужчина и женщина, возвышающиеся на две головы над морем французов и арабов. У обоих за спиной висело по розовому рюкзаку, а на животе – по младенцу, укрепленному на особых ремнях. Минутой позже они исчезли из виду, и впереди оказалась женщина в широких, до колен брюках, модных в нынешнем году. Ее задница в этом одеянии выглядела еще толще и еще ближе к земле, а голые бледные икры походили на деревенский кувшин, украшенный рельефом варикозных синих вен, переплетенных точно клубок маленьких змей. Аньес подумала: эта женщина могла подобрать для себя двадцать различных нарядов, которые смягчили бы безобразность ее ягодиц и прикрыли синие вены. Почему она не сделала этого? Люди, появляясь среди себе подобных, уже не только не стремятся выглядеть красивыми, но не стремятся даже что-то предпринять, чтобы не выглядеть уродливыми!

Она подумала: когда в конце концов натиск этого уродства станет совсем невыносимым, она купит в цветочном магазине незабудку, одну-единственную незабудку, хрупкий стебелек с миниатюрным голубым венцом, выйдет с нею на улицу и будет держать перед собой, судорожно впиваясь в нее взглядом, чтобы видеть лишь эту единственную прекрасную голубую точку, чтобы видеть ее, как то последнее, что ей хочется оставить для себя и своих глаз от мира, который перестала любить. Пройдет она с цветком по улицам Парижа, люди начнут узнавать ее, дети – бегать за ней, смеяться и бросать в нее чем попало, и весь Париж будет говорить: *безумная с незабудкой...*

Она продолжала путь: правым ухом она зарегистрировала прибой музыки, ритмичный гром ударных инструментов, долетавший из магазинов, парикмахерских, ресторанов, в левое

ухо поступали все звуки мостовой: монолитный шум машин, сокрушительный грохот отъезжающего автобуса. Потом ее пронизал резкий звук мотоцикла. Она не могла удержаться, чтобы не посмотреть, кто причиняет ей эту физическую боль: девушка в джинсах, с длинными развевающимися черными волосами сидела на маленькой мотоциклетке, выпрямившись, как за пишущей машинкой; с мотоциклетки были сняты все глушители, и она издавала чудовищный грохот.

Аньес вспомнила молодую женщину, ту, что несколькими часами раньше вошла в сауну и, желая явить свое «я» и навязать его другим, уже с порога громко оповестила всех, что ненавидит горячий душ и скромность. Аньес была уверена, что совершенно то же побуждение владело и молодой девушкой с черными волосами, когда она снимала глушители с мотоцикла. То не машина производила шум, а «я» черноволосой девушки; эта девушка, дабы быть услышанной и войти в сознание других, приобщила к своей душе шумный выхлоп мотора. Аньес смотрела на развевающиеся волосы этой грохочущей души и вдруг осознала, что жаждет смерти девушки. Если бы она сейчас столкнулась с автобусом и осталась в луже крови на асфальте, Аньес не почувствовала бы ни ужаса, ни скорби, лишь одно удовлетворение.

Она тут же испугалась своей ненависти и подумала: мир подошел к некоему рубежу; если он переступит его, все может превратиться в безумие: люди станут ходить с незабудкой в руке или при встрече убивать друг друга. И будет недоставать малого, лишь одной капли воды, которая переполнит чашу: допустим, на улице на одну машину, на одного человека или на один децибел станет больше. Здесь есть какой-то количественный предел, который нельзя преступить, однако никто за ним не следит, а возможно, и не ведает о его существовании.

Она продолжала идти по тротуару; чем дальше, тем больше на нем было людей, но ни один не уступал ей дороги, и потому, сойдя на проезжую часть, она продолжила путь уже между краем тротуара и проходящими машинами. Это был ее давний опыт: люди не уступали ей дороги. Она знала это, воспринимала это как свой злосчастный удел и часто пыталась сломить его: тщила собратся с духом, идти смело вперед, не сходить со своего пути и принудить посторониться встречного, но из этого ничего не получалось. В этой ежедневной банальной пробе сил именно она всегда оказывалась побежденной. Однажды навстречу ей шел ребенок лет семи. Аньес попыталась не уступить ему дороги, однако, коль скоро она не хотела столкнуться с ним, ей ничего в конце концов не осталось, как посторониться.

Всплыло воспоминание: ей было лет десять, когда однажды она пошла с родителями на прогулку в горы. На широкой лесной прогалине прямо перед ними выросли два мальчика: один из них держал горизонтально в вытянутой руке палку, преграждая им путь. «Это частная дорога! Платите таможенную пошлину!» – кричал он, выставя палку так, что слегка касался папиного живота.

По всей вероятности, это была детская шутка, и достаточно было просто оттолкнуть паренька. Или таким способом он попрошайничал, и достаточно было вытащить из кармана франк. Но отец повернулся и пошел другой дорогой. По правде говоря, это не имело никакого значения, шли они наугад, и было все равно куда идти, но все-таки мать сердилась на отца и не удержалась, чтобы не сказать: «Он и перед двенадцатилетними мальчишками пасует!» И Аньес тогда тоже несколько огорчило отцовское поведение.

Новый напор шума прервал воспоминание: мужчины в касках вгрызались ручными отбойными молотками в асфальт мостовой. В этот грохот откуда-то сверху, словно с небес, вдруг ворвалась fuga Баха, исполняемая на фортепьяно. Вероятно, кто-то на верхнем этаже открыл окно и включил магнитофон на полную мощность, чтобы строгая красота Баха зазвучала как грозное предостережение миру, вступившему на скверную дорогу. Однако fuga Баха была не в состоянии действительно противостоять отбойным молоткам и машинам; напротив, машины и отбойные молотки вобрали fuga Баха как часть своей собственной fugи, и Аньес теперь продолжала путь, зажав ладонями уши.

В эту минуту прохожий, шедший навстречу ей, обвел ее ненавидящим взглядом и хлопнул себя рукою по лбу: на языке жестов всех стран это означает, что человека считают дураком, чокнутым или слабоумным. Аньес поймала этот взгляд, эту ненависть, и ее обуяло бешенство. Она остановилась. Ей хотелось броситься на этого человека. Ударить его. Но она не смогла, толпа уносила ее все дальше, кто-то врезался в нее, ибо на тротуаре нельзя было стоять на месте более секунды-другой.

Поневоле она двинулась дальше, но не переставала думать об этом человеке: они оба шли под один и тот же грохот, но, несмотря на это, он счел необходимым дать ей понять, что у нее нет никакого повода, а возможно, и никакого права затыкать уши. Этот человек призывал ее к порядку, который она нарушила своим жестом. Это было само равенство, которое от его лица делало ей выговор, не допуская, чтобы некий индивид отказывался принять то, что должны принимать все. Это само равенство запрещало ей быть в разладе с миром, в котором мы все живем.

Желание убить этого человека не было всего лишь мимолетной реакцией. Хотя непосредственное возмущение и прошло, это желание в ней осталось, разве что к нему прибавилось удивление, что она способна на такую ненависть. Образ человека, хлопнувшего себя по лбу, плавал у нее внутри, как наполненная ядом рыба, которую невозможно извлечь и которая исподволь разлагается.

Снова вспомнился отец. С того момента, как она увидела его отступившим перед двумя двенадцатилетними мальчишками, она часто представляла его себе в такой ситуации: он на тонущем корабле, спасательных шлюпок мало, в них нет места для всех, и посему на палубе страшная давка. Отец сперва бежит со всеми, но, видя, как люди, сталкиваясь, готовы затоптать друг друга, а какая-то дама и вовсе взялась охаживать его кулаком в ярости оттого, что он оказался на ее пути, он останавливается и отступает в сторону. И уже только стоит и смотрит, как шлюпки, переполненные орущими и изрыгающими проклятия людьми, медленно опускаются в разбушевавшиеся волны.

Как назвать позицию отца? Трусостью? Нет. Труссы дрожат за жизнь и поэтому умеют яростно за нее биться. Благородством? Можно было бы о нем говорить, если бы отцом двигала забота о ближнем. Но, по мнению Аньес, речь шла не об этом. Так в чем же дело? Она не находила ответа. Лишь одно казалось ей всегда несомненным: на корабле, идущем ко дну, где необходимо бороться с другими людьми за место в спасательной шлюпке, отец заранее обречен на гибель.

Да, это бесспорно. Вопрос, который она сейчас задавала себе, был таков: испытывал ли отец к людям на корабле ненависть, подобную той, какую испытывает она к мотоциклистке или к человеку, высмеявшему ее за то, что она заткнула уши? Нет, Аньес не в силах представить себе отца, способного ненавидеть. Вероломство ненависти в том-то и состоит, что она связывает нас с противником в тугом объятии. В этом вся непристойность войны: интимность взаимно перемешанной крови, неприличная близость двух солдат, которые, встретившись взглядами, протыкают друг друга штыками. Аньес уверена, что именно этой близости гнушался отец. Давка на корабле была ему так отвратительна, что он предпочел утонуть. Телесно соприкоснуться с людьми, стремящимися оттолкнуть ближнего и обречь его смерти, казалось ему куда страшнее, чем окончить свою жизнь в чистой прозрачности вод.

Воспоминание об отце стало освобождать ее от ненависти, которой она только что была переполнена. Ядовитый образ мужчины, хлопнувшего себя по лбу, постепенно исчезал, и в голове все настойчивее звучала фраза: я не могу их ненавидеть, потому что я не связана с ними; у меня с ними нет ничего общего.

6

Если Аньес не стала немкой, то благодаря тому, что Гитлер проиграл войну. Впервые в истории побежденному не досталось никакой, ровно никакой славы: даже скорбной славы крушения. Победитель не удовольствовался одной лишь победой, а решил судить побежденного и судил весь народ, так что в то время говорить по-немецки и считаться немцем было делом малоприятным.

Предки Аньес по материнской линии были крестьянами, жившими на пограничной территории между немецкой и французской частями Швейцарии; и поэтому одинаково хорошо говорили на двух языках, хотя формально и считались французскими швейцарцами. Родители отца были немцами, поселившимися в Венгрии. Отец в юности учился в Париже, где неплохо овладел французским; когда он женился, общим языком супругов тем не менее вполне естественно стал немецкий. Только после войны мать вспомнила об официальном языке своих родителей, и Аньес послали во французскую гимназию. Отцу было дозволено лишь единственное для немца утешение: декламировать перед старшей дочерью стихи Гёте в оригинале.

Это наиболее известное из всех немецких стихотворений, какие когда-либо были написаны, – его учат наизусть все немецкие дети:

Над всеми холмами
Покой,
В верхушках деревьев
Ты не услышишь
Даже дыхания;
Птицы молчат в лесу.
Подожди лишь, скоро
И ты отдохнешь¹.

Мысль стихотворения проста: в лесу все спит, и ты также уснешь.

Смысл поэзии не поражает нас неожиданным откровением, но способен сделать одно мгновение незабываемым и исполненным невыразимой печали.

В дословном переводе стихотворение теряет все. Вы почувствуете его красоту, лишь когда прочтете по-немецки:

Über allen Gipfeln
Ist Ruh,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch.
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.

У каждой строки – разное число слогов, здесь чередуются трохей, ямб, дактиль, шестая строка, на удивление, длиннее остальных, и, хотя речь идет о двух четверостишиях, первая грамматическая фраза асимметрически кончается в пятой строке, что создает мелодию, нико-

¹ В русском варианте – стихотворение М. Ю. Лермонтова «Горные вершины спят во тьме ночной...» (Примеч. перев.).

гда и нигде доселе не существовавшую, кроме как в этом единственном стихотворении, столь же прекрасном, сколь и совершенно простым.

Отец выучил его еще в Венгрии, где посещал начальную немецкую школу, и Аньес впервые услышала его от отца, когда была в том же возрасте, что и он, тогдашний школьник. Они читали его во время совместных прогулок, причем так, что сверх всякой меры подчеркивали ударения и старались шагать в его стихотворном ритме. Из-за неправильности размера это было совсем непросто, и только на последних двух строках получалось: war-te nur-bal-de-ruhest du-auch! Последнее слово они всегда выкрикивали так, что его было слышно за километр: auch!

В последний раз отец читал ей это стихотворение в один из тех трех дней перед смертью. Сперва она полагала, что он тем самым возвращается к языку своей матери и в детство; потом она заметила, что он смотрит ей в глаза красноречивым и доверительным взглядом, и ей подумалось, что он хочет напомнить ей о счастье их давних прогулок; только позже она уяснила себе, что стихотворение говорит о смерти: отец хотел сказать ей, что умирает и что знает об этом. Прежде она никогда бы не подумала, что эти невинные стишки, столь милые школьникам, могут иметь такой смысл. Отец лежал, лоб его от жара покрывался испариной, и она, схватив его за руку, превозмогая рыдания, зашептала вместе с ним: warte nur, balde ruhest du auch. Скоро и ты отдохнешь. И она уже узнавала голос близившейся отцовской смерти: то была тишина умолкших птиц в верхушках деревьев.

После его смерти и вправду воцарилась тишина, и эта тишина была в ее душе, и было прекрасно; повторю еще раз: то была тишина умолкших птиц в верхушках деревьев. И чем дальше шло время, тем явственнее в этой тишине отзывалось, словно охотничий рожок в глубине лесов, предсмертное послание отца. Что хотел он сказать ей своим подношением? Быть свободной. Жить так, как ей хочется жить, идти туда, куда хочет идти. Он сам на это никогда не решался. Поэтому он отдал все свое состояние дочери, чтобы решилась она.

С той поры как Аньес вышла замуж, она утратила радость уединения: в учреждении она восемь часов торчала в одной комнате с двумя сослуживцами; потом возвращалась домой, в четырехкомнатную квартиру. Но ни одна комната не принадлежала ей: там была большая гостиная, супружеская спальня, комната Брижит и маленький кабинет Поля. Когда она начала жаловаться, Поль предлагал ей считать гостиную своей комнатой и обещал (с несомненной искренностью), что ни он, ни Брижит не будут там мешать ей. Но могла ли она уютно себя чувствовать в комнате, где стоял обеденный стол с восемью стульями, поджидавшими вечерних гостей?

И возможно, теперь становится уже понятнее, почему она чувствовала себя в это утро такой счастливой в кровати, которую только что покинул Поль, и почему так тихо шла по прихожей, боясь привлечь внимание Брижит. Она любила даже капризный лифт, ибо он представлял ей несколько мгновений уединения. И в машину она садилась с нетерпением, потому что там с ней никто не разговаривал и на нее никто не смотрел. Да, самым главным было, что на нее никто не смотрел. Уединение: сладкое неприсутствие взглядов. Однажды оба ее сослуживца заболели, и две недели она работала одна в комнате. А вечером с изумлением обнаруживала, что чувствует себя совсем не такой усталой. С тех пор она знала, что взгляды подобны гилям, пригибающим к земле, или поцелуям, высасывающим из нее силы, что морщины на ее лице выгравированы иглами взглядов.

Проснувшись утром, она услышала по радио сообщение о том, что во время одной несложной операции на операционном столе умерла молодая пациентка из-за небрежно проведенной анестезии. По этому поводу три врача привлечены к суду, и организация по защите прав потребителей выступает с предложением снимать все без исключения операции и пленки хранить в архиве. Предложение встречено восторженными аплодисментами! Нас каждодневно пронизывает тысяча взглядов, но и этого недостаточно; сверх того, здесь будет еще легализо-

ванный взгляд, который ни на миг не оставит нас в покое – ни на улице, ни в лесу, ни у врача, ни на операционном столе, ни в постели: изображение каждого мгновения нашей жизни будет помещено в архив, дабы при надобности использовать его в судебных тяжбах или для удовлетворения общественного любопытства.

Эти мысли снова воскресили в ней тоску по Швейцарии. Впрочем, с тех пор как умер отец, она ездила туда по два-три раза в год. Поль и Брижит со снисходительной улыбкой называли это гигиеническо-сентиментальной потребностью: она ездит туда сметать листья с отцовской могилы и дышать свежим воздухом у настезь распахнутого окна альпийского отеля. Они ошибались: хотя там у нее и не было любовника, Швейцария была ее единственно глубокой и регулярной изменой, в какой она была перед ними повинна. Швейцария: пение птиц в верхушках деревьев. Она мечтала однажды остаться там и больше не возвращаться. Она зашла так далеко, что не раз осматривала в Альпах квартиры, подлежащие продаже или найму, мысленно даже стилизовала письмо, в котором сообщит дочери и мужу, что, не переставая любить их, решила жить в одиночестве. И просит лишь о том, чтобы время от времени они посылали ей весточку о своем житье-бытье, поскольку ей надо быть уверенной, что с ними ничего плохого не происходит! Это-то и было труднее всего выразить и объяснить: что ей необходимо знать, как им живется, но при этом она совсем не жаждет видеть их и быть с ними.

Все это, конечно, были одни мечты. Могла ли разумная женщина отвергнуть удачное супружество? И все же в ее супружеский мир врвался издали заманчивый голос: то был голос уединения. Она закрывала глаза и прислушивалась к звукам охотничьего рожка, доносившимся из глубины далеких лесов. В тех лесах были тропы, на одной из них стоял отец, улыбался и звал ее к себе.

7

Аньес сидела в кресле и ждала Поля. Вечером им предстоял ужин, то, что во Франции называется «dîner en ville» и означает: люди, мало знакомые или совсем незнакомые, жуя, проведут за разговором три-четыре часа. Она весь день не ела, чувствовала себя уставшей и, чтобы отдохнуть, листала толстый журнал. Читать текст сил у нее не было, она лишь проглядывала фотографии: цветные и во множестве. В середине журнала был репортаж о катастрофе, происшедшей во время воздушного парада: в толпу зрителей рухнул горящий самолет. Фотографии были большие, каждая из них помещалась на развороте журнала, и на них были запечатлены люди, в ужасе разбегающиеся во все стороны, обгорелые одежды, обожженная кожа, пламя, взмывающее с тел; не в силах оторвать взгляда, Аньес думала о том, какую дикую радость должен был испытывать фотограф, скупавший во время банального зрелища и вдруг узревший, как в образе пылающего самолета падает к нему с неба удача.

Она перевернула две-три страницы и увидела обнаженных людей на пляже, большой заголовок «*Каникулы в фотографиях, которых вы не найдете в альбоме Букингема*» и краткий текст с заключительной фразой: «...и там был фотограф, так что из-за своих связей принцесса снова окажется в центре внимания». И там был фотограф. Везде – фотограф. Фотограф, спрятанный за кустом. Фотограф, переодетый в хромого нищего. Повсюду всевидящее око. Повсюду объектив.

Аньес вспомнила, как еще в детстве ее поразила мысль, что Бог видит ее, и видит непрестанно. Тогда, пожалуй, она впервые испытала то наслаждение, ту несказанную сладость, которую человек ощущает, когда он виден, виден вопреки своему желанию, виден в минуты интимности, когда он изнасилован взглядом. Мать, будучи верующей, говорила ей: «Бог видит тебя», стремясь таким образом отучить ее врать, грызть ногти и ковырять в носу; но случилось нечто иное: именно предаваясь своим дурным привычкам или в интимные, стыдные минуты Аньес представляла Бога и демонстрировала ему то, что делает.

Она думала о сестре английской королевы и повторяла про себя: сегодня Божье око заменено камерой. Око одного заменено глазами всех. Жизнь превратилась в один-единственный «партуз», как называют во Франции оргии, в «партуз», в котором все принимают участие. Все могут лицезреть обнаженную английскую принцессу, празднующую на субтропическом пляже день рождения. Камера лишь на первый взгляд проявляет интерес исключительно к знаменитостям, но достаточно, чтобы неподалеку от вас рухнул самолет, с вашей рубашки взметнулось пламя, как вы враз становитесь тоже знаменитым и вовлеченным во всеохватный «партуз», не имеющий ничего общего с наслаждением и торжественно оповещающий всех, что им некуда спрятаться и что любой отдан на произвол любому.

Однажды у нее было свидание с одним человеком, но в минуту, когда в вестибюле большого отеля она поцеловала его, перед ней неожиданно возник паренек с бородкой, в джинсах, кожаной куртке и с пятью сумками, висевшими на шее и на плечах. Присев, он приставил к глазу фотоаппарат. Она замахала рукой перед лицом, но парень смеялся, бормотал что-то на скверном английском, отпрыгивал от нее назад, как блоха, и шелкал затвором. Ничего не значащий эпизод: в отеле происходил какой-то конгресс, и был нанят фотограф, затем чтобы собравшиеся здесь со всего мира ученые могли завтра же купить на память свои фотографии. Но Аньес была невыносима мысль, что где-то останется документ, свидетельствующий о ее связи с человеком, с которым она здесь встретилась; на следующий день она вернулась в гостиницу, скупила все фотографии (на них она стояла рядом с мужчиной, закрывая рукой лицо) и попыталась заполучить даже негативы, но они, сданные в архив предприятия, были уже недоступны. И хотя Аньес не угрожала никакая опасность, в ней осталась горечь, что одна секунда ее жизни, вместо того чтобы превратиться в ничто, как это происходит со всеми остальными секундами жизни, будет выхвачена из бега времени и, если однажды какой-нибудь идиотской случайности заблагорассудится, оживет, как плохо погребенный покойник.

Она взяла другой журнал, нацеленный больше на политику и культуру. Ни тебе катастроф, ни нудистских пляжей с принцессами, зато там были лица, сплошные лица. И в конце, в разделе книжных рецензий, каждую статью сопровождала фотография рецензируемого автора. Поскольку писатели часто оставались неизвестными, к фотографиям можно было отнести как к полезной информации, но как оправдать пять изображений президента республики, чей подбородок и нос все давно уже знают как свои пять пальцев? Автор передовицы тоже был изображен на маленьком фото над своим текстом, видимо на том же месте, что и каждую неделю. В сообщении по астрономии были помещены увеличенные улыбки астрономов; и на всех рекламах – пишущих машинок, мебели, моркови – тоже были помещены лица, сплошные лица. Она снова просмотрела журнал с первой до последней страницы; подсчитала: девяносто две фотографии, на которых были исключительно лица; сорок одна фотография, где лицо было вместе с фигурой; девяносто лиц на двадцати трех фотографиях, где были группы фигур, и лишь одиннадцать фотографий, где люди играли второстепенную роль или вовсе отсутствовали. Всего в журнале было двести двадцать три физиономии.

Затем вернулся домой Поль, и Аньес рассказала ему о своих подсчетах.

– Да, – согласился он. – Чем равнодушнее человек к политике, к интересам других, тем он более одержим собственной персоной. Индивидуализм нашего времени.

– Индивидуализм? Что здесь от индивидуализма, если камера фотографирует тебя в минуты агонии? Напротив, это означает, что индивид уже не принадлежит себе, что он целиком и полностью достояние других. Знаешь ли, я вспоминаю свое детство: если кто-то хотел кого-то фотографировать, спрашивал на то разрешения. Хоть я была и ребенком, но взрослые спрашивали меня: девочка, можно тебя сфотографировать? А потом в один прекрасный день перестали спрашивать. Право камеры было вознесено над всеми остальными правами, и тем самым все, абсолютно все изменилось. – Открыв журнал, она сказала: – Если положишь рядом фотографии двух разных лиц, тебе сразу бросится в глаза то, чем они отличаются друг от друга.

Но когда рядом двести двадцать три физиономии, ты вдруг начинаешь понимать, что все это лишь одно лицо во множестве вариантов и что никакого индивида никогда не существовало.

– Аньес, – сказал Поль, и его голос стал вдруг серьезным. – Твое лицо не похоже ни на какое другое.

Аньес не уловила перемены в тоне Поля и улыбнулась.

Поль сказал:

– Не улыбайся. Это я серьезно. Когда любишь кого-то, любишь его лицо, и оно, таким образом, становится не похожим на другие.

– Да, ты знаешь меня по моему лицу, ты знаешь меня просто в лицо и никогда не знал иначе. Тебе даже на ум не могло прийти, что мое лицо – это еще не есть я.

Поль ответил с терпеливой участливостью старого доктора:

– Как это твое лицо еще не есть ты? Кто же тогда скрывается за твоим лицом?

– Представь себе, что ты живешь в мире, где нет зеркал. Ты думал бы о своем лице, ты представлял бы его как внешний образ того, что внутри тебя. А потом, когда тебе было бы сорок, кто-то впервые в жизни подставил бы тебе зеркало. Представь себе этот кошмар! Ты увидел бы совершенно чужое лицо. И ты ясно постиг бы то, чего не в силах постичь: твое лицо не есть ты.

– Аньес, – сказал Поль и поднялся с кресла. Теперь он стоял совсем рядом с ней. В его глазах она видела любовь, а в его чертах – его мать. Он был похож на нее, как, вероятно, его мать была похожа на своего отца, который также походил на кого-то. Когда Аньес увидела его мать впервые, ее схожесть с Полем была ей мучительно неприятна. Когда впоследствии они отдавались любви, какая-то злонамеренная сила напоминала ей об этом сходстве, и временами ей представлялось, что на ней лежит старая женщина с лицом, искаженным оргазмом. Но Поль давно забыл, что на его лице отпечатано лицо матери, и был уверен, что его лицо не что иное, как он сам.

– Фамилию мы также получили случайно, – продолжала она. – Мы не знаем, когда она возникла и как досталась какому-то нашему давнему предку. Мы не понимаем своей фамилии, не знаем ее истории и все же носим ее с экзальтированной верностью, сливаемся с нею, любим ее и смешно гордимся ею, словно мы сами придумали ее в минуты какого-то гениального озарения. С лицом то же самое. Случилось это, видимо, под конец детства: я так долго смотрелась в зеркало, что в конце концов уверовала, что то, что вижу, есть я. О том времени я вспоминаю весьма туманно, но знаю, что открывать свое «я» было, очевидно, упоительно, однако затем настает минута, когда стоишь перед зеркалом и думаешь: и это я? почему? почему я связывала себя вот с *этим самым*? какое мне дело до этого лица? И в эту минуту все начинает рушиться.

– Что начинает рушиться? Что с тобой, Аньес? Что с тобой творится в последнее время?

Она посмотрела на него и вновь склонила голову. Он непоправимо походил на свою покойную мать. Впрочем, чем дальше, тем больше он походит на нее. Чем дальше, тем больше он походит на старую женщину, какой была его мать.

Поль схватил ее обеими руками и поднял. Она поглядела на него, и он только теперь заметил, что глаза у нее полны слез.

Он прижал ее к себе. Она поняла, что он очень любит ее, и ее вдруг пронизало чувство жалости. Ей стало грустно, что он так любит ее, и захотелось плакать.

– Надо пойти одеться, через минуту нам уже выходить, – сказала она и, высвободившись из его объятий, убежала в ванную.

Я пишу об Аньес, воображаю ее себе, заставляю сидеть на лавке в сауне, ходить по Парижу, листать журнал, разговаривать с мужем, но о том, что было в начале всего, о жесте дамы, помахавшей в бассейне инструктору, как бы забываю. Что, разве Аньес таким жестом никогда никому не машет? Нет, как ни странно, но мне кажется, она давно уже так не машет. Когда-то, еще совсем маленькой, да, тогда она это делала.

Это было в те годы, когда она еще жила в городе, позади которого обрисовываются вершины Альп. Ей было шестнадцать, и как-то она пошла со своим одноклассником в кинотеатр. Когда погас свет, он взял ее руку. Вскоре у них вспотели ладони, но мальчик не осмеливался отпустить руку, которую так смело схватил, ведь это значило бы признать, что он потеет и стыдится этого. Так они полтора часа вымачивали руки в горячей влаге и разжали их, лишь когда стал зажигаться свет.

Потом, стараясь еще продолжить свидание, он повел ее в улочки старого города и поднялся с ней к старому монастырю, подворье которого было запружено туристами. Видимо, у него все было хорошо продумано: сравнительно быстрым шагом он повел ее в безлюдный коридор под довольно глупым предлогом показать ей одну картину. Они дошли до конца коридора, но там оказалась не картина, а крашеная коричневая дверь и на ней надпись WC. Мальчик, не видя надписи, остановился. Она же хорошо знала, что картины мало интересуют его и что он просто ищет уединенное место, где мог бы ее поцеловать. Бедняжка, он не нашел ничего лучшего, чем этот грязный закуток возле клозета! Она рассмеялась, но, чтобы он не подумал, что она смеется над ним, указала ему надпись. Он тоже засмеялся, но впал в отчаяние. Разве можно было на фоне этих букв наклониться и поцеловать ее (тем более, что это был бы их первый, то бишь незабываемый поцелуй)? И ему, стало быть, ничего не оставалось, как с горьким ощущением капитуляции вернуться на улицу.

Они шли молча, и Аньес досадовала: почему он не поцеловал ее совершенно спокойно посреди улицы? Почему вместо этого повел ее в глухой коридор с уборной, в которой опрастывались поколения старых, отвратительных, вонючих монахов? Его растерянность льстила ей, она была знаком его стыдливой влюбленности, но еще больше отпугивала, ибо свидетельствовала о его незрелости; встречаться с мальчиком своего возраста было для нее как бы дисквалификацией: ее интересовали те, что постарше. Но, пожалуй, именно потому, что мысленно она предавала его, зная при этом, что он любит ее, какое-то чувство справедливости побуждало ее помочь ему в его любовном усилии, поддержать его, избавить от ребячливой растерянности. И она решилась: если он не нашел в себе смелости, найдет она.

Он провожал ее до дома, и она приготовилась: как только они подойдут к калитке виллы, она быстро обнимет его и поцелует, а он будет настолько ошеломлен, что и с места не сдвинется. Однако в последнюю минуту у нее пропал к тому интерес: его лицо было не только печальным, но и неприступным, даже враждебным. Они подали друг другу руки, и она пошла по тропке, ведущей вдоль клумб к дверям дома. Она чувствовала, что мальчик недвижно стоит и смотрит на нее. Ей снова стало жалко его, и она, почувствовав к нему сострадание старшей сестры, вдруг сделала то, о чем секунду назад и не думала. На ходу она повернула к нему голову, улыбнулась и выбросила в воздух правую руку, весело, легко, плавно, словно бросала ввысь цветной мяч.

То мгновение, когда Аньес внезапно, без подготовки воздела руку плавным и легким движением, чудодейственно. Как же ей удалось в единую долю секунды и в первый раз в жизни найти для тела и руки движение столь совершенное, отточенное, подобное законченному творению искусства?

В то время к отцу Аньес ходила дама лет сорока, секретарша факультета: одни бумаги приносила ему на подпись, другие забирала. Несмотря на то что повод для этих визитов был незначительный, они сопровождались загадочным напряжением (мать сразу замыкалась в себе), пробуждавшим у Аньес любопытство. Всегда, когда секретарша собиралась уходить, Аньес подбегала к окну, чтобы незаметно поглядеть на нее. Однажды, направляясь к калитке (то есть в сторону, противоположную той, какой пойдет несколько позже Аньес, сопровождаемая взглядом незадачливого одноклассника), секретарша повернула голову, улыбнулась и таким неожиданным, плавным и легким движением выбросила в воздух руку. Картина незабываемая: посыпанная песком тропа в лучах солнца искрилась, как золотой поток, а по обеим сторонам калитки цвели два куста жасмина. Жест, устремленный ввысь, словно хотел указать этому золотому кусочку земли направление, каким ему вознестись, и белые кусты жасмина уже начали обращаться в крылья. Отца не было видно, но, судя по жесту женщины, он стоял в дверях и смотрел ей вслед.

Этот жест был столь неожиданным и прекрасным, что остался в памяти Аньес словно отпечаток молнии: он звал ее в дали пространства и времени, рождая в шестнадцатилетней девушке неясное и беспредельное желание. И когда ей понадобилось сообщить своему пареньку что-то важное, но она не нашла для этого слов, этот жест ожил в ней и сказал за нее то, чего она сама не сумела выразить.

Я не знаю, как долго она пользовалась им (или, точнее сказать, как долго он пользовался ею), наверное, до того дня, когда заметила, что ее сестра, которая была восемью годами младше, выбрасывает в воздух руку, расставаясь со своей подружкой. Увидев свой жест в исполнении сестры, с раннего детства восторгавшейся ею и во всем подражавшей ей, Аньес почувствовала некую неловкость: взрослый жест был не к лицу одиннадцатилетней девочке. Но прежде всего ей пришло на ум, что этот жест дан в пользование всем и, стало быть, не принадлежит ей: когда она машет рукой, то, собственно, совершает кражу или подделку. С той поры она стала избегать этого жеста (совсем не просто отвыкнуть от жестов, которые привыкли к нам) и относилась с недоверием ко всем жестам. Она старалась ограничить их лишь самыми необходимыми (выражать кивком «да» или «нет», указывать на предмет, невидимый ее собеседнику), то есть теми, что не претендуют на оригинальное проявление ее сущности. И так случилось, что очаровавший ее жест отцовской секретарши, уходившей по золотой тропе (и столь очаровавший меня, когда я увидел даму в купальнике, прощавшуюся с инструктором), совершенно уснул в ней.

Он проснулся только однажды. Было это еще до смерти матери, когда Аньес две недели провела в вилле с больным отцом. Прощаясь с ним в последний день, она понимала, что они уже долго не увидятся. Матери не было дома, и отец хотел проводить ее на улицу, к машине. Она не разрешила ему идти с ней дальше порога и пошла к калитке одна по золотому песку между клумб. У нее сжималось горло, ей невыразимо хотелось сказать отцу что-то прекрасное, чего нельзя выразить словами, и вдруг нежданно, она не знала даже, как это случилось, повернула голову и с улыбкой взмахнула рукой, легко, плавно, словно говорила ему, что перед ними еще долгая жизнь и что они еще много раз свидятся. Секундой позже она вспомнила сорокалетнюю даму, которая двадцать пять лет назад на том же месте таким же образом помахала рукой. Это встревожило и смутило ее. Словно внезапно в одно и то же мгновение встретились два отдаленных друг от друга времени, словно в одном жесте встретились две разные женщины. Ее пронзила мысль, что эти две женщины, возможно, были единственными, кого он любил.

В гостиной, где все, отужинав, расположились в креслах с рюмкой коньяку или недопитой чашечкой кофе, поднялся наконец первый смельчак и с улыбкой отклонялся хозяйке дома.

Остальные, решив принять это как команду, вместе с Полем и Аньес повскакивали с кресел и поспешили к своим машинам. Поль сидел за рулем, а Аньес предавалась власти неумолчного шума машин, мелькания огней, тшеты непрестанного тревожнения столичной ночи, не ведающей отдыха. Снова возникло у нее то странное, мощное чувство, которое охватывало ее все чаще и чаще: у нее нет ничего общего с этими существами о двух ногах, с головой на шее и ртом на лице. Когда-то она была захвачена их политикой, их наукой, их открытиями, считала себя малой частью их великой авантюры, пока однажды в ней не возникло чувство, что она не принадлежит к ним. Это чувство было странным, она противилась ему, зная, что оно абсурдно и аморально, но в конце концов решила, что не может приказывать своим чувствам: она не способна терзаться мыслью об их войнах или радоваться их торжествам, ибо проникнута сознанием, что ей до этого нет дела.

Значит ли это, что у нее холодное сердце? Нет, к сердцу это не имеет отношения. Кстати, никто не подает нищим столько милостыни, сколько она. Она не может пройти мимо, не замечая их, и они, словно чувствуя это, обращаются к ней, мгновенно и издали среди сотен прохожих распознавая в ней ту, что видит и слышит их. Да, все именно так, однако к этому я должен добавить вот что: и ее щедрость по отношению к нищим носила характер *отрицания*: она одаривала их не потому, что нищие также принадлежат к человечеству, а потому, что не принадлежат к нему, что они исторгнуты из него и, вероятно, столь же отстранены от человечества, как и она.

Отстраненность от человечества – вот ее позиция. И единственное, что могло бы вырвать ее из этого отстранения: конкретная любовь к конкретному человеку. Если бы она кого-нибудь действительно любила, судьба остальных людей не была бы ей безразлична, ибо ее любимый зависел бы от этой судьбы, был бы ее частью, и тогда у нее не возникло бы чувства, что то, чем люди терзаются, их войны и их каникулы, вовсе не ее дело.

Своей последней мысли она испугалась. Неужто правда, что она никого из людей не любит? А как же Поль?

Она вспомнила, что за несколько часов до того, как они поехали ужинать, он подошел к ней и обнял ее. Да, что-то с ней происходит: в последнее время ее преследует мысль, что за ее любовью к Полю ничего не стоит, кроме единственного желания: единственного желания любить его; единственного желания быть с ним в счастливом браке. Если бы это желание на миг ослабело, любовь улетела бы точно птица, которой открыли клетку.

Час ночи, Аньес и Поль раздеваются. Доведись каждому описать, как раздевается другой, как он двигается при этом, оба пришли бы в замешательство. Они уже давно не смотрят друг на друга. Аппарат памяти выключен и не регистрирует ничего из тех совместных вечерних минут, что предшествуют их укладыванию в супружескую постель.

Супружеская постель: алтарь супружества; и кто говорит «алтарь», тем самым говорит «жертва». Здесь один приносит себя в жертву другому: оба засыпают с трудом, и дыхание одного будит другого; а посему они жмутся к краю кровати, оставляя посреди нее широкое свободное пространство; каждый делает вид, что спит, ибо полагает, что тем самым облегчит отход ко сну другому, который сможет ворочаться с боку на бок, не опасаясь нарушить покой партнера. К сожалению, партнер не воспользуется этим, ибо и он (из тех же соображений) будет притворяться спящим и побоится шевельнуться.

Быть не в силах уснуть и не сметь шевельнуться: супружеская постель.

Аньес лежит, вытянувшись на спине, и в голове ее проносятся картины; в них снова присутствует этот странный ласковый человек, который все знает о них, но при этом не имеет понятия, что такое Эйфелева башня. Она отдала бы все, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, но он умышленно выбрал время, когда они дома оба. Аньес тщетно обдумывает, какой бы хитростью усладить Поля из квартиры. Все трое сидят в креслах вокруг низкого столика за тремя чашечками кофе, и Поль старается развлечь гостя. Аньес лишь ждет, когда гость заговорит о

том, зачем он пришел. Она-то ведь это знает. Но знает только она, Поль – нет. Наконец гость прерывает разглагольствования Поля и приступает к делу: «Вы, полагаю, представляете себе, откуда я прихожу».

«Да», – говорит Аньес. Она знает, что гость приходит с иной, очень далекой планеты, занимающей во Вселенной важное место. И она тотчас добавляет с робкой улыбкой: «Там лучше?»

Гость лишь пожимает плечами: «Аньес, вы же знаете, где вы живете».

Аньес говорит: «Возможно, смерти положено быть. Но разве нельзя было придумать как-нибудь по-другому? Неужто необходимо, чтобы после человека оставалось тело, которое надо зарыть в землю или бросить в огонь? Ведь все это чудовищно!»

«Разумеется, Земля – это чудовищно!» – говорит гость.

«И еще кое-что, – говорит Аньес. – Вопрос покажется вам глупым. Те, что живут там, у вас, имеют лицо?»

«Нет, не имеют. Лица существуют только здесь, у вас».

«И чем же тогда те, что живут там, отличаются друг от друга?»

«Там все являются своим собственным творением. Я бы сказал: каждый сам себя придумывает. Но об этом трудно говорить. Вам этого не понять. Но когда-нибудь вы это поймете. Я, собственно, пришел для того, чтобы сказать вам, что в будущей жизни вы уже не вернетесь на Землю».

Аньес знает, конечно, наперед, что скажет им гость, и ничто не удивляет ее. Зато Поль поражен. Он смотрит на гостя, смотрит на Аньес, и она не может не заметить: «А Поль?»

«И Поль тут не останется, – отвечает гость. – Я пришел сообщить вам это. Мы всегда сообщаем об этом людям, которых мы выбрали. Я хочу лишь спросить вас: в будущей жизни вы хотите остаться вместе или предпочитаете уже не встретиться?»

Аньес ждала этого вопроса. По этой причине она и хотела остаться с гостем одна. Она понимала, что в присутствии Поля она не способна сказать: «Я больше не хочу быть с ним». Она не может сказать это при нем, как и он не может сказать это при ней, хотя вполне вероятно, что и он предпочел бы попробовать в будущем жить иначе, а стало быть, без Аньес. Однако сказать вслух друг перед другом: «Мы уже не хотим в будущей жизни оставаться вместе, мы не хотим больше встретиться», это все равно что сказать: «Никакой любви между нами не существовало и не существует». А как раз это невозможно выговорить вслух, ибо вся их совместная жизнь (уже более двадцати лет совместной жизни) основана на иллюзии любви, иллюзии, которую оба заботливо пестуют и оберегают. И так всегда, когда она представляет себе эту сцену и дело доходит до вопроса гостя, она знает, что смалодушничает и скажет против своего желания, против своей мечты: «Да. Разумеется. Я хочу, чтобы и в будущей жизни мы были вместе».

Но сегодня впервые она уверена, что и в присутствии Поля найдет в себе смелость выговорить то, чего ей по-настоящему и до глубины души хочется; она уверена, что найдет в себе эту смелость даже ценой того, что между ними все рухнет.

Она слышала рядом шумное дыхание. Поль уже действительно спал. Она будто снова вставила в проектор ту же самую катушку пленки, отмотала еще раз перед глазами всю сцену: она разговаривает с гостем, Поль на нее изумленно смотрит, и гость говорит: «В будущей жизни вы хотите остаться вместе или предпочитаете больше не встретиться?»

(Удивительно: хотя он располагает о них всей информацией, земная психология для него непостижима, понятие любви неведомо, так что он не осознает, в какое положение ставит их столь откровенным, практичным и доброжелательным вопросом.)

Аньес, собрав всю свою внутреннюю силу, отвечает твердым голосом: «Мы предпочитаем больше не встретиться».

Этим словами она захлопывает дверь перед иллюзией любви.

Часть вторая

Бессмертие

1

13 сентября 1811. Вот уже третья неделя, как молодая новобрачная Беттина, урожденная Брентано, поселилась со своим мужем, поэтом Ахимом фон Арнимом, у супругов Гёте в Веймаре. Беттине двадцать шесть лет, Арниму тридцать, жене Гёте Христиане сорок девять; Гёте шестьдесят два года, и у него нет ни одного зуба. Арним любит свою молодую жену, Христиана любит своего старого мужа, а Беттина и после свадьбы не прекращает флиртовать с Гёте. В тот день Гёте до полудня остается дома, а Христиана сопровождает молодую супружескую чету на выставку (устраивает ее друг семьи, надворный советник Майер), где представлены картины, о которых с похвалой отозвался Гёте. Госпожа Христиана в картинах толку не знает, но помнит, что говорил о них Гёте, так что теперь с легким сердцем может выдавать его суждения за свои. Арним слышит громкий голос Христианы и видит очки на носу Беттины. Очки то и дело подпрыгивают, как только Беттина (на кроличий манер) морщит нос. И Арним отлично знает: Беттина раздражена до бешенства. Он, словно почуя в воздухе бурю, неприметно удаляется в соседний зал.

Стоило ему уйти, как Беттина прерывает Христиану: нет, она несколько с ней не согласна! Ведь эти совершенно невыносимые картины.

Не менее раздражена и Христиана, причем по двум причинам: с одной стороны, эта молодая патрицианка, хотя замужем и беременна, не стесняется кокетничать с ее мужем, с другой стороны – оспаривает его суждения. Чего она добивается? Быть первой среди тех, кто состязается в преданности Гёте, и одновременно – первой среди тех, кто восстает против него? Христиана возмущена каждой из этих причин в отдельности, а сверх того, тем, что одна логически исключает другую. Поэтому громогласно заявляет, что столь признанные картины нельзя считать невыносимыми.

На что Беттина отвечает так: их не только можно считать невыносимыми, но следует сказать, что эти картины просто смешны! Да, они смешны, и в поддержку своего утверждения она приводит аргумент за аргументом.

Христиана слушает и обнаруживает, что совсем не понимает того, о чем говорит ей эта молодая женщина. Чем сильнее кипятится Беттина, тем больше употребляет слова, заимствованные у своих сверстников, прошедших университетские аудитории, и Христиана знает, что Беттина употребляет их именно потому, что она, Христиана, не понимает их. Она смотрит на ее нос, на котором подпрыгивают очки, и ей представляется, что эти заумные слова и эти очки неразделимы. В самом деле, примечательно, что у Беттины на носу очки! Все же знают, что Гёте ношение очков в обществе почитает безвкусицей и эксцентричностью! И если Беттина, невзирая на это, носит в Веймаре очки, то лишь потому, что хочет нагло и вызывающе подчеркнуть, что она принадлежит к молодому поколению, именно к тому, которому присущ романтизм и очки. А мы знаем, что хочет сказать человек, когда он гордо и демонстративно причисляет себя к молодому поколению: он хочет сказать, что будет жить в то время, когда иные (в Беттинином случае – Христиана и Гёте) будут уже давно и смешно лежать в могиле.

Беттина говорит, распаляясь все больше, и вдруг рука Христианы взлетает к ее лицу. Но в последний миг она осознает, что неловко давать пощечину тому, кто у нее гостит. Она замирает, и ее рука лишь соскальзывает по Беттининому лбу. Очки падают наземь и разбиваются. Окружающие оборачиваются, застывают в растерянности; из соседнего зала прибегает бедняга

Арним и, не придумав ничего умнее, приседает на корточки и начинает поднимать осколки, словно собираясь их склеить.

В течение нескольких часов все напряженно ожидают вердикта Гёте. Чью сторону он примет, узнав обо всем?

Гёте принимает сторону Христианы и раз и навсегда запрещает супружеской чете Арним переступать порог его дома.

Когда разбивается рюмка, это на счастье. Когда разбивается зеркало, семь лет жди несчастья. А когда разбиваются очки? Это война. Во всех веймарских салонах Беттина объявляет, что эта «толстая колбаса взбесилась и искусила ее». Изречение переходит из уст в уста, и весь Веймар хватается за животики. Это бессмертное изречение, этот бессмертный смех слышны и поныне.

2

Бессмертие. Гёте не боялся этого слова. В своей книге «Из моей жизни», озаглавленной известным подзаголовком «Поэзия и правда» («Dichtung und Wahrheit»), он пишет о занавесе, на который жадно смотрел в новом лейпцигском театре, когда ему было девятнадцать лет. На занавесе вдали был изображен (привожу слова Гёте) «der Tempel des Ruhmes», Храм Славы, а перед ним – великие драматурги всех времен. В свободном пространстве между ними, вовсе их не замечая, шел «прямо к ступеням храма человек в легкой куртке; он был виден со спины и ничем особенным не выделялся. Человек этот был, несомненно, Шекспир: без предшественников и преемников, нимало не заботясь об образах, своим путем двигался он навстречу бессмертию».

Бессмертие, о котором говорит Гёте, конечно, не имеет ничего общего с религиозным представлением о бессмертии души. Речь об ином, совершенно земном бессмертии тех, кто остается в памяти потомков. Любой человек может достичь большего или меньшего, более короткого или долгого бессмертия и уже смолodu лелеет мысль о нем. Рассказывали, что у старосты одной моравской деревни, куда я мальчиком частенько заходил, стоял дома открытый гроб, и он в те счастливые минуты, когда бывал чрезвычайно доволен собой, укладывался в него и воображал свои похороны. Ничего более прекрасного, чем эти вымечтанные минуты в гробу, он не знал: он пребывал в своем бессмертии.

Перед лицом бессмертия люди, конечно, не равны. Нужно различать так называемое *малое бессмертие*, память о человеке в мыслях тех, кто знал его (таково было бессмертие, о котором мечтал староста моравской деревни), и *великое бессмертие*, означающее память о человеке в мыслях тех, с кем он лично не был знаком. Есть жизненные пути, которые ставят человека лицом к лицу с таким великим бессмертием, пусть ненадежным, даже неправдоподобным, но тем не менее возможным: это жизненные пути художников и государственных деятелей.

Более всех европейских политиков нашего времени мысль о бессмертии занимала, пожалуй, Франсуа Миттерана: помню незабываемую церемонию, которая последовала за его избранием президентом в 1981 году. Площадь Пантеона была запружена восторженной толпой, и он удалялся от нее: он один восходил по широким ступеням (точно так же, как шел Шекспир к Храму Славы на занавесе, о котором писал Гёте), и в руке у него были три розы. Затем он скрылся из глаз и оказался уже один-одинешенек среди надгробий шестидесяти четырех великих усопших, сопровождаемый в своем задумчивом одиночестве лишь взором телекамеры, съемочной группы и нескольких миллионов французов, вперивших взгляд в телевизоры, из которых рвалась бетховенская Девятая. Одну за другой он возложил эти розы на могилы трех мертвых, коих выбрал среди всех остальных. Он был подобен землемеру, втыкающему

три розы, словно три колышка, в бесконечную стройплощадку вечности, дабы обозначить треугольник, в центре которого должен быть воздвигнут его дворец.

Валери Жискар д'Эстен, предшествующий президент, в 1974 году пригласил в Елисейский дворец на свой первый завтрак мусорщиков. То был жест сентиментального буржуа, мечтавшего о любви простолюдинов и желавшего вселить в них веру, что он один из них. Миттеран не был столь наивным, чтобы желать походить на мусорщиков (подобная мечта не сбывается ни у одного президента), он хотел походить на мертвых, что было гораздо мудрее, ибо смерть и бессмертие – точно неразлучная пара влюбленных, и тот, чей лик сливается у нас с ликами мертвых, бессмертен уже при жизни.

Американский президент Джимми Картер всегда был мне симпатичен, но я проникся к нему едва ли не любовью, увидев его на телеэкране в спортивном костюме, бегущим с группой своих сотрудников, тренеров и телохранителей; внезапно у президента на лбу выступили капли пота, лицо его искривилось в судороге, попутчики, склонившись к нему, подхватили его под руки, поддержали: у него случился небольшой сердечный приступ. Бег трусцой должен был стать для президента случаем явить народу свою вечную молодость. Ради этого были приглашены операторы, не по своей вине показавшие нам вместо пышущего здоровьем атлета стареющего человека в незадачливый для него час.

Человек мечтает быть бессмертным, и однажды камера покажет нам рот, сведенный печальной гримасой, как то единственное, что нам запомнится в нем, что останется у нас после него как парабола всей его жизни. Он вступит в бессмертие, которое мы называем *смешным*. Тихо Браге был великим астрономом, но сегодня нам известно о нем лишь то, что во время торжественного ужина при пражском императорском дворе он так стеснялся отлучиться в уборную, что у него лопнул мочевой пузырь и он отошел к смешным бессмертным мучеником стыда и мочи. Он отошел к ним так же, как и Христиана Гёте, на века превращенная во взбесившуюся кусачую колбасу. Нет романиста, который был бы мне дороже Роберта Музиля. Он умер однажды утром, когда поднимал гантели. Я и сам теперь, поднимая их, с тревогой слежу за биением сердца и страшусь смерти, поскольку умереть с гантелями в руках, как умер боготворимый мною писатель, было бы эпигонством столь невероятным, столь неистовым, столь фанатичным, что вмиг обеспечило бы мне смешное бессмертие.

3

Вообразим, что во времена императора Рудольфа уже существовали телекамеры (те, что обеспечили бессмертие Картеру), снимавшие пиршество при императорском дворе, во время которого Тихо Браге ерзал на стуле, бледнел, закидывал ногу на ногу и закатывал глаза. Если бы к тому же он знал, что на него смотрят несколько миллионов зрителей, муки его возросли бы во сто крат, и смех, отзывающийся в кулуарах его бессмертия, звучал бы еще громче. Народ наверняка бы потребовал, чтобы фильм о знаменитом астрономе, которому стыдно помочиться, крутили бы в канун каждого Нового года, когда люди хотят смеяться и по большей части не знают чему.

Этот образ рождает во мне вопрос: меняется ли характер бессмертия в эпоху камер? Не замедлю ответить: в сущности – нет; ибо фотографический объектив существовал уже задолго до того, как был изобретен; он существовал в форме своей собственной нематериализованной сущности. Хотя никакой объектив на людей и не был наставлен, они вели себя так, точно их фотографировали. Вокруг Гёте не сновало никакой толпы фотографов, но вокруг него сновали тени фотографов, брошенные на него из глубин будущего. Так было, например, во время его знаменитой аудиенции у Наполеона. Тогда, находясь на вершине славы, император французов собрал в Эрфурте всех европейских правителей, которым надлежало выразить согласие на раздел власти между ним и императором русских.

В этом смысле Наполеон был истым французом: мало было ему во славу свою погнать на смерть сотни тысяч людей, ему понадобилось еще и восхищение писателей. Как-то он осведомился у своего советника по культуре, кто считается самым признанным среди духовных авторитетов современной Германии, и узнал, что это прежде всего некий господин Гёте. Гёте! Наполеон стукнул себя по лбу. Автор «Страданий юного Вертера»! Во время Египетского похода он как-то обнаружил, что его офицеры увлеченно читают эту книгу. Поскольку и сам знал ее, он страшно разгневался. Выбрав офицеров за чтение такого сентиментального вздора, он раз и навсегда запретил им брать в руки роман. Любой роман! Пусть читают исторические сочинения, это куда полезнее! Однако на сей раз он порадовался, что знает, кто такой Гёте, и решил пригласить его. Сделал он это даже не без удовольствия, ибо советник доложил ему, что Гёте знаменит прежде всего как драматург. Наполеон гнушался романами, однако признавал театр, ибо он напоминал ему сражения. А поскольку он и сам был одним из величайших авторов сражений и сверх того – их непревзойденным режиссером, в глубине души он был уверен, что он одновременно и величайший трагический поэт всех времен, больший, чем Софокл, больший, чем Шекспир.

Советник по культуре был сведущим человеком, однако, случалось, кое в чем ошибался. Хотя Гёте и немало занимался театром, но слава его почти не была с ним связана.

Наполеоновский советник, по всей вероятности, спутал Гёте с Шиллером. В конце концов, если учесть, что Шиллер был близок с Гёте, то не столь уж большой ошибкой было создать из двух друзей одного поэта; возможно даже, что советник действовал вполне осознанно, движимый похвальным дидактическим умыслом, когда сотворил для Наполеона синтез немецкого классицизма в лице Фридриха Вольфганга Шиллэте.

Получив приглашение, Гёте (не предполагая, что он Шиллэте) тотчас понял, что должен принять его. Оставался ровно год до его шестидесятилетия. Смерть приближается, а со смертью и бессмертие (ибо, как я сказал, смерть и бессмертие составляют неразлучную пару, прекраснее, чем Маркс и Энгельс, чем Ромео и Джульетта, чем американские комики Лорел и Гарди), и Гёте не мог пренебречь приглашением бессмертного. Несмотря на то что был тогда чрезвычайно поглощен работой над «Учением о цвете», почитая ее вершиной своего творчества, он оставил письменный стол и поехал в Эрфурт, где 2 октября 1808 года произошла забываемая встреча бессмертного поэта с бессмертным полководцем.

4

Окруженный беспокойными тенями фотографов, Гёте восходит по широкой лестнице. Сопровождает его адъютант Наполеона, он приводит его по следующей лестнице и следующими коридорами в большую гостиную, в глубине которой за круглым столом сидит Наполеон и завтракает. Вокруг снуют люди в форме и обращаются к нему с различными донесениями, на которые он, жуя, отвечает. Лишь спустя несколько минут адъютант осмеливается указать ему на Гёте, недвижно стоящего поодаль. Наполеон окидывает его взглядом и всовывает правую руку под жилет, касаясь ладонью последнего левого ребра. (Когда-то он это делал, страдая болями в желудке, но позже этот жест пришелся ему по душе, и он автоматически прибегал к нему, замечая вокруг фотографов.) Он быстро проглатывает кусок (негоже быть сфотографированным, когда лицо искажено жеванием, в газетах же злонамеренно публикуют именно такие фотографии) и говорит громко, чтобы все слышали: «Voilà un homme!» Какой мужчина!

Эта короткая фраза как раз то, что теперь во Франции принято называть «une petite phrase». Политики произносят длинные речи, в которых без зазрения совести бубнят одно и то же, зная, что совершенно все равно, повторяются они или нет, ибо до широкой общественности так или иначе дойдут лишь те несколько слов, какие будут цитировать из их выступлений журналисты. Дабы облегчить им задачу и чуть направить их в нужное русло, политики встав-

ляют в свои все более и более единообразные речи одну-две короткие фразы, которые до сей поры никогда не произносили, – это уже само по себе столь неожиданно и ошеломляюще, что «короткая фраза» вмиг становится заметной. Искусство политики ныне состоит не в управлении *polis* (они управляются самой логикой своего темного и неконтролируемого механизма), а в придумывании «*petites phrases*», по которым политик будет увиден, понят и поддержан на плебисците, равно как избран или не избран на предстоящих выборах. Гёте еще неведом термин «*petite phrase*», но, как известно, вещи присутствуют в своем существовании еще до того, как бывают материализованы или названы. Гёте понимает, что как раз то, что сказал Наполеон, и есть выдающаяся «*petite phrase*», которая им обоим придется весьма кстати. Он доволен и на шаг приближается к столу полководца.

Вы можете толковать что угодно о бессмертии поэтов, полководцы бессмертны в еще большей степени, так что это Наполеон, кто с полным правом задает вопросы Гёте, а не наоборот. «Сколько вам лет?» – спрашивает он его. «Шестьдесят», – отвечает Гёте. «Для этого возраста вы хорошо выглядите», – признает Наполеон (ему на двадцать лет меньше), и это доставляет Гёте радость. Когда ему было пятьдесят, он был ужасно толстым, с двойным подбородком, но это его не тревожило. Однако по мере того как прибывали годы, ему все чаще приходила мысль о смерти, и он испугался, что может войти в бессмертие с отвратительным брюхом. А посему решил похудеть и сделался вскоре стройным мужчиной, который хоть уже и не был красив, но мог, во всяком случае, вызывать воспоминания о своей былой красоте.

«Вы женаты?» – спрашивает Наполеон, полный искреннего интереса. «Да», – отвечает Гёте, слегка при этом кланяясь. «И дети есть?» – «Один сын». Тут к Наполеону наклоняется какой-то генерал и сообщает ему важную новость. Наполеон задумывается. Он вынимает руку из-под жилета, втыкает вилку в кусок мяса, подносит ее ко рту (эта сцена уже не отснята) и, жуя, отвечает. Лишь минутой позже он вспоминает о Гёте. Полный искреннего интереса, он задает вопрос: «Вы женаты?» – «Да», – отвечает Гёте, слегка при этом кланяясь. «И дети есть?» – «Один сын», – отвечает Гёте. «А что Карл-Август?» – внезапно выпаливает Наполеон имя правителя Гёте, герцога Веймарского, и по его тону ясно, что он недолюбливает этого человека.

Гёте не может дурно отзываться о своем государе, однако не может и возражать бессмертному и потому лишь говорит с дипломатической уклончивостью, что Карл-Август много сделал для науки и искусства. Упоминание о науках и искусствах становится для бессмертного поводом перестать жевать, встать из-за стола, сунуть руку под жилет, на шаг-другой приблизиться к поэту и завести с ним разговор о театре. В эту минуту поднимает шум невидимая толпа фотографов, начинают щелкать аппараты, и полководец, который отвел поэта чуть в сторону для доверительного разговора, вынужден повысить голос, дабы все присутствующие его слышали. Он предлагает Гёте написать пьесу об Эрфуртской встрече, которая наконец-то обеспечит человечеству мир и счастье. «Театр, – говорит он затем чересчур громко, – должен был бы стать школой народа! (Это вторая красивая «*petite phrase*», коя была бы достойна появиться на следующий день в виде огромного заголовка над пространными газетными статьями.) И было бы превосходно, – добавляет он более тихим голосом, – если бы вы посвятили эту пьесу императору Александру!» (Ибо о нем шла речь на Эрфуртской встрече! Наполеону необходимо было привлечь его на свою сторону!) Засим он одаривает Шиллэте и небольшой лекцией по литературе; тем временем адъютанты прерывают его рапортами, и он теряет нить мыслей. Чтобы найти ее, он еще дважды, без связи и убежденности, повторяет, что «театр – школа народа», а затем (да! наконец! нить найдена!) упоминает о «Смерти Цезаря» Вольтера. Вот, по мнению Наполеона, пример того, как поэт-драматург упустил возможность стать наставником народа. В пьесе он должен был бы явить образ великого полководца, который трудился на благо народа, и лишь краткость времени, отмеренного ему жизнью, помешала ему осуществить свои замыслы. Последние слова прозвучали меланхолично, и полководец посмотрел прямо в глаза поэту: «Вот великая тема для вас!»

Но тут его снова прервали. В помещение входят высшие офицеры. Наполеон вытаскивает руку из-под жилета, садится к столу, тычет вилкой в мясо и, жуя, выслушивает донесения. Тени фотографов исчезают из гостиной. Гёте оглядывается. Осматривает картины на стенах. Затем подходит к адъютанту, который привел его сюда, и спрашивает, можно ли считать аудиенцию оконченной. Адъютант утвердительно кивает. Вилка Наполеона подносит ко рту кусок мяса, а Гёте удаляется.

5

Беттина была дочерью Максимилианы Ла Рош, женщины, в которую был влюблен двадцатитрехлетний Гёте. Если не считать нескольких целомудренных поцелуев, то была любовь бестелесная, чисто сентиментальная и не оставившая никаких следов уже потому, что мать Максимилианы вовремя выдала свою дочь замуж за богатого итальянского купца Брентано, который, заметив, что молодой поэт осмеливается и далее флиртовать с его женой, выгнал его из своего дома и запретил ему когда-либо в нем появляться. Максимилиана впоследствии родила двенадцать детей (этот inferнальный итальянский самец за свою жизнь наплодил их двадцать!), в том числе девочку, которой дала имя Элизабет; то была Беттина.

Гёте привлекал Беттину с ранней юности. Во-первых, потому, что на глазах всей Германии он шагнул к Храму Славы, а во-вторых – потому что она узнала о любви, которую он питал к ее матери. Беттина стала завороченно погружаться в эту давнюю любовь, и тем завороченнее, чем дальше эта любовь отступала в прошлое (Боже мой, это происходило за тринадцать лет до ее рождения!), и мало-помалу в ней росло ощущение, что она обладает каким-то тайным правом на великого поэта, ибо в метафорическом смысле слова (а кто иной мог бы относиться серьезно к метафорам, кроме поэта) считала себя его дочерью.

Общеизвестно, что мужчины обладают неблагоприятной склонностью увиливать от своих отцовских обязанностей, не платить алиментов и не признавать своих детей. Они отказываются понять, что ребенок – сама сущность любви. Да, сущность каждой любви – ребенок, и вовсе не имеет значения, был ли он зачат и родился ли на свет. В алгебре любви ребенок – знак магической суммы двух существ. Если мужчина любит женщину, то, и не дотрагиваясь до нее, он должен считаться с тем, что от любви может возникнуть и появиться на свет плод даже по прошествии тринадцати лет с момента последней встречи влюбленных. Нечто подобное думала Беттина, прежде чем наконец решила приехать в Веймар и явиться к Гёте. Произошло это весной 1807 года. Ей было двадцать два года (почти как Гёте, когда он ухаживал за ее матерью), но она по-прежнему чувствовала себя ребенком. Это чувство тайно оберегало ее, словно детство было ее щитом.

Носить перед собою щит детства – то была ее хитрость на протяжении всей жизни. Хитрость, но и естество, поскольку еще ребенком она привыкла играть в ребенка. Она всегда была немножко влюблена в своего старшего брата поэта Клеменса Брентано и с превеликим удовольствием усаживалась к нему на колени. Уже тогда (ей было четырнадцать) она умела наслаждаться той тройственной ситуацией, в какой она одновременно была ребенком, сестрой и взыскующей любви женщиной. Можно ли прогнать ребенка с колен? Даже Гёте не способен будет это сделать.

Она села к нему на колени уже в 1807 году, в день их первого свидания, если можно верить тому, как она сама его описала: сперва она сидела напротив Гёте на диване; он говорил вежливо-опечаленным голосом о герцогине Амалии, умершей несколько дней назад. Беттина сказала, что ничего не знает об этом. «Как так? – удивился Гёте. – Вас не занимает жизнь Веймара?» Беттина сказала: «Меня занимает только вы». Гёте улыбнулся и сказал молодой женщине роковую фразу: «Вы прелестный ребенок». Как только она услышала слово «ребенок», она перестала смущаться. Объявив, что ей неудобно сидеть, вскочила с дивана. «Сядьте так,

чтобы вам было удобно», – сказал Гёте, и Беттина, обвив его шею руками, уселась к нему на колени. Ей было там так чудесно сидеть, что, прижавшись к нему, она вскоре уснула.

Трудно сказать, действительно ли было так, или Беттина мистифицирует нас, но даже если и мистифицирует, то тем лучше – она открывает нам, какой ей хочется явить себя, и описывает методу своего подхода к мужчинам: на манер ребенка она была дерзостно откровенна (объявила, что смерть веймарской герцогини ей безразлична и что ей неудобно сидеть на диване, хотя на нем благоговейно сидели десятки других посетителей); на манер ребенка она бросилась к нему на шею и уселась на колени; и как венец всего: на манер ребенка она там заснула!

Принять позу ребенка – нет ничего более выгодного: ребенок может позволить себе что захочет, ибо он невинен и неопытен; ему необязательно придерживаться правил приличия, он ведь еще не вступил в мир, где властвует форма; он имеет право проявлять свои чувства без учета того, удобно это или нет. Люди, отказавшиеся видеть в Беттине ребенка, говорили о ней, что она сумасбродна (однажды, охваченная чувством восторга, она принялась танцевать, упала и расшибла лоб об угол стола), невоспитанна (в обществе вместо стула она садилась на пол), а главное, чудовищно неестественна. И напротив: те, что были готовы воспринимать ее как вечного ребенка, восхищались ее спонтанной непосредственностью.

Гёте был растроган этим ребенком. В память о своей собственной молодости он подарил Беттине прекрасный перстень. Этим же вечером он коротко занес в свой дневник: *Мамзель Брентано*.

6

Сколько же раз на протяжении жизни встретились эти прославленные любовники, Гёте и Беттина? Она пожаловала к нему уже осенью того же 1807 года и осталась в Веймаре на десять дней. Затем она увидела его лишь три года спустя: приехала на три дня на чешский курорт Теплице, где на тамошних благодатных водах, к ее вящему изумлению, как раз лечился Гёте. А годом позже уже произошел тот роковой визит в Веймар: две недели спустя после Беттининого приезда Христиана сбросила на пол ее очки.

А сколько раз они оставались по-настоящему наедине, с глазу на глаз? Раза три-четыре, вряд ли более. Чем меньше они виделись, тем больше писали друг другу или, точнее, тем больше она писала ему. Она написала ему пятьдесят два длинных письма, в которых обращалась к нему на «ты» и говорила исключительно о любви. Но, кроме лавины слов, ничего другого, собственно, не было, и, естественно, мы можем задаться вопросом: почему же история их любви стала столь знаменитой?

Ответ таков: она стала знаменитой потому, что с самого начала речь шла не о любви, а кое о чем другом.

Гёте в скором времени это почувствовал. Впервые он встревожился, когда Беттина сообщила ему, что еще задолго до первого посещения Веймара она весьма сблизилась с его старой матерью, жившей, как и она, во Франкфурте. Беттина расспрашивала ее о сыне, и обласканная и польщенная матушка целыми днями делилась с ней множеством воспоминаний. Беттина полагала, что ее дружба с матерью Гёте откроет ей его дом и его сердце. Этот расчет был не вполне точным. Обожествующая любовь матери казалась Гёте несколько комичной (он ни разу не приехал из Веймара навестить ее), и союз экстравагантной девицы с наивной матушкой представлялся ему опасным.

Могу себе вообразить, что он испытывал весьма смешанные чувства, когда Беттина рассказывала ему истории, услышанные ею от старой дамы. Сперва, разумеется, он был польщен интересом, проявленным к нему молодой девушкой. Ее рассказы пробуждали в нем множество дремлющих приятных ему воспоминаний. Но вскорости среди них он обнаружил и анекдоти-

ческие ситуации, которые не могли произойти или в которых он выглядел столь смешным, что происходить им вовсе не полагалось. Кроме того, его детство и юность приобретали в устах Беттины определенную окраску и смысл, которые отнюдь не устраивали его. Не то чтобы Беттина хотела использовать воспоминания о его детстве во зло ему, скорее потому, что человеку (любому человеку, не только Гёте) неприятно слушать рассказы о своей жизни в чужой, а не в своей собственной интерпретации. Таким образом, Гёте почувствовал себя в опасности: эта девушка, что вращается в среде молодых интеллектуалов романтического толка (Гёте не испытывал к ним ни малейшей симпатии), опасно честолюбива и считает себя (с апломбом, недалеким от бесстыдства) будущей писательницей. Впрочем, однажды она ему прямо сказала: она хотела бы написать книгу по воспоминаниям его матери. Книгу о нем, о Гёте! В те мгновения за проявлениями любви он углядел угрожающую агрессивность пера и насторожился.

Но именно потому, что относился к ней настороженно, он делал все, дабы не быть неприятным. Она была слишком опасна, чтобы он мог позволить себе превратить ее в своего врага: он предпочел держать ее под мягким, но постоянным контролем. Но вместе с тем он понимал, что даже с этой мягкостью он не должен перегибать палку, поскольку и самый незначительный жест, который она могла бы истолковать как проявление страсти нежной (а она была готова и чох его истолковать как признание в любви), прибавил бы ей смелости.

Однажды она написала ему: «Не сжигай моих писем, не рви их; это могло бы навредить тебе, ибо любовь, которую в них выражаю, связана с тобою неизбежно, подлинно и живо творно. Но никому их не показывай! Храни их как тайную красоту». Сперва он снисходительно улыбнулся тому, что Беттина столь убеждена в красоте своих писем, но затем его привлекла фраза «Но никому их не показывай!». Зачем она говорит ему это? Разве у него было хоть малейшее желание кому-то показать их? Императивом «*Не показывай!*» Беттина выдала свое тайное желание *показать*. У него не оставалось сомнений, что письма, которые он ей время от времени пишет, будут иметь и других читателей, и он знал, что пребывает в положении обвиняемого, которого судья оповестил: все, что отныне вы скажете, может быть истолковано против вас.

И посему между приветливостью и сухостью он постарался тщательно вымерить срединный путь: на ее экзальтированные письма он отзывался посланиями, которые одновременно были дружескими и сдержанными, и на ее «тыканье» долго отвечал обращением к ней на «вы». Если они оказывались где-то вместе, он был к ней по-отцовски ласков, приглашал ее к себе в дом, но всегда старался встречаться с ней при свидетелях.

Так о чем же, собственно, шла между ними речь?

В 1809 году Беттина пишет ему: «У меня твердое желание любить тебя вечность». Прочтите внимательно эту, казалось бы, банальную фразу. Слова «вечность» и «желание» гораздо важнее в ней, чем слово «любить».

Не стану дольше держать вас в напряжении. То, о чем шла между ними речь, была не любовь. То было бессмертие.

7

В 1810 году, в те три дня, когда они случайно оба оказались в Теплице, она призналась ему, что в скором времени выйдет замуж за поэта Ахима фон Арнима. Вероятно, она поведала ему об этом в некоем смятении, так как опасалась, не сочтет ли Гёте ее брак изменой любви, в которой столь страстно объяснялась ему. Она недостаточно знала мужчин, чтобы предугадать, какую тихую радость тем самым доставит ему.

Тотчас после ее отъезда он пишет письмо в Веймар Христиане, и в нем – задорную фразу: «Mit Arnim ists wohlgewiss». С Арнимом, видимо, дело решенное. В том же письме он выражает радость, что Беттина на сей раз «и вправду была красивее и милее, чем когда-либо», и

мы понимаем, почему она такой представлялась ему: он был уверен, что существование мужа отныне будет ограждать его от ее экстравагантностей, которые до сих пор мешали ему оценить ее прелести непредвзято и в добром расположении духа.

Чтобы постичь ситуацию, мы не должны забывать об одной важной вещи: с ранней молодости Гёте был обольстителем, а следовательно, к тому времени, когда он познакомился с Беттиной, он был таковым уже сорок лет подряд; за это время в нем выработался механизм реакций и жестов обольщения, который приходил в движение при самом малом импульсе. До сей поры в присутствии Беттины он вынужден был с превеликим усилием удерживать его в бездействии. Но, поняв, что «с Арнимом, видимо, дело решенное», он с облегчением подумал, что в дальнейшем его осторожность будет излишней.

Вечером она пришла в его комнату и снова разыгрывала из себя ребенка. Она говорила что-то прелестно недозволительное и, в то время как он оставался в своем кресле, плюхнулась рядом на пол. Пребывая в добром расположении духа («с Арнимом, видимо, дело решенное»), он наклонился к ней и погладил ее по лицу, как мы гладим ребенка. В этот момент ребенок прекратил свой лепет и возвел к нему глаза, полные женской страсти и требовательности. Он взял ее за руки и поднял с пола. Запомним эту сцену: он сидел, она стояла против него, а за окном заходило солнце. Она смотрела ему в глаза, он смотрел в глаза ей, механизм обольщения был пущен в ход, и он не противился этому. Голосом чуть более глубоким, чем обычно, не переставая смотреть ей в глаза, он велел ей обнажить грудь. Она ничего не сказала, ничего не сделала; покрылась румянцем. Он поднялся с кресла и сам расстегнул ей на груди платье. Она все время смотрела ему в глаза, а вечерняя заря окрашивала ее кожу вперемешку с румянцем, залившим ее от лица до самого живота. Он положил ей руку на грудь. «Скажи, еще никто не касался твоей груди?» – спросил он ее. «Нет, – ответила она. – И мне так странно, что ты касаешься меня», – и она неотрывно смотрела ему в глаза. Не отнимая руки от ее груди, он тоже смотрел ей в глаза и долго и жадно наблюдал на самом их дне стыд девушки, чьей груди еще никто не касался.

Примерно так сама Беттина описала эту сцену, которая, вероятнее всего, не имела никакого продолжения и сверкает посреди их истории, скорее риторической, нежели эротической, как единственная и великолепная жемчужина сексуального возбуждения.

8

После ее отъезда в них обоих надолго остался след этого чарующего мгновения. В письме, последовавшем за их последней встречей, Гёте называл ее *allerliebste*, любимейшей. Однако это не помешало ему помнить о сути дела, и уже в следующем письме он сообщал ей, что начинает писать мемуары «Из моей жизни» и ему понадобится ее помощь: его матушки нет уже в живых, и никто другой не может воскресить в нем его юность. А Беттина провела рядом со старой дамой много времени: пусть напишет все, что она ей рассказывала, и пришлет ему, Гёте!

Разве он не знал, что Беттина хотела сама издать книгу воспоминаний о детстве Гёте? Что даже вела о том переговоры с издателем? Разумеется, знал. Держу пари, что он попросил ее об этой услуге не потому, что нуждался в ней, а лишь для того, чтобы она сама не смогла предать гласности что-либо, связанное с ним. Расслабленная волшебством их последней встречи и опасением, что брак с Арнимом отдалит от нее Гёте, она согласилась. Ему удалось обезвредить ее, как обезвреживают бомбу замедленного действия.

А потом она приехала в Веймар в сентябре 1811-го; приехала со своим молодым мужем, беременная. Нет ничего более отрадного, чем встреча с женщиной, которой мы боялись и которая, обезоруженная, уже не нагоняет страху. Но и беременная, и замужняя, и лишенная возможности написать книгу о его юности, Беттина, однако, не чувствовала себя обезоруженной

и не собиралась прекращать свою борьбу. Поймите правильно: не борьбу за любовь; борьбу за бессмертие.

Что о бессмертии думал Гёте, это можно вполне допустить, учитывая его положение. Но можно ли допустить, что о нем думала и безвестная девушка Беттина, причем в столь юном возрасте? Разумеется, да. О бессмертии думают с детства. Кроме того, Беттина принадлежала к поколению романтиков, что были зачарованы смертью уже с той минуты, как появились на свет. Новалис не прожил и тридцати лет, однако, невзирая на молодость, ничто никогда не вдохновляло его больше, чем смерть, волшебница смерть, смерть, пресуществленная в алкоголь поэзии. Все они жили в трансцендентальном мире, превосходя самих себя, протягивая руки в неоглядные дали, к самому концу своих жизней и даже за их пределы, в дали небытия. Но как уже было сказано, где смерть, там и бессмертие – спутник ее, и романтики обращались к нему на «ты» так же бесцеремонно, как Беттина говорила «ты» Гёте. Годы между 1807-м и 1811-м были самым прекрасным периодом ее жизни. В 1810 году в Вене она навестила, без уведомления, Бетховена. Она вдруг оказалась знакомой с двумя наибессмертнейшими немцами, не только с красивым поэтом, но и с уродливым композитором, и с обоими флиртвала. Это двойное бессмертие пьянило ее. Гёте был уже старым (в те годы считался стариком и шестидесятилетним) и великолепно созревшим для смерти; Бетховен, хотя ему едва перевалило за сорок, был, даже не подозревая того, на пять лет ближе к смерти, чем Гёте. Беттина стояла между ними, как нежный ангел меж двумя огромными черными надгробиями. Это было так прекрасно, что ей вовсе не мешал почти беззубый рот Гёте. Напротив, чем он был старше, тем был привлекательнее, ибо чем ближе был к смерти, тем ближе был к бессмертию. Лишь мертвый Гёте способен будет взять ее за руку и повести к Храму Славы. Чем ближе он был к смерти, тем меньше она готова была от него отказаться.

И потому в том роковом сентябре 1811 года, хотя она была замужем и беременна, она разыгрывала из себя ребенка еще старательнее, чем когда-либо прежде, громко говорила, усаживалась на пол, на стол, на край комода, на люстру, на деревья, ходила пританцовывая, пела, когда остальные вели серьезные разговоры, изрекала многозначительные фразы, когда остальным хотелось петь, и во что бы то ни стало стремилась остаться с Гёте наедине. Однако за все две недели это удалось ей только однажды. Судя по ее собственному рассказу, это происходило примерно так.

Был вечер, они сидели у окна в его комнате. Она стала говорить о душе, затем о звездах. Тут Гёте посмотрел кверху в окно и указал Беттине на большую звезду. Но Беттина была близорукой и ничего не увидела. Гёте подал ей телескоп: «Нам повезло: это Меркурий! Этой осенью его прекрасно видно». Но Беттине хотелось говорить о звездах влюбленных, а не о звездах астрономов, и потому, приложив телескоп к глазу, она притворилась, будто ничего не видит, и объявила, что этот телескоп слишком слаб для нее. Гёте терпеливо пошел за телескопом с более сильными стеклами. Он вновь заставил приложить его к глазу, и она вновь объявила, что ничего не видит. Это подвигло Гёте завести речь о Меркурии, о Марсе, о планетах, о Солнце, о Млечном Пути. Говорил он долго, а когда кончил, она извинилась и сама, по собственному желанию, пошла спать. Несколькими днями позже объявила на выставке, что все вывешенные картины немыслимы, и Христиана сбросила наземь ее очки.

9

День разбитых очков, день тринадцатого сентября, Беттина пережила как великое поражение. Сперва она реагировала на него воинственно, разгласив по всему Веймару, что ее укусила «бешеная колбаса», но вскорости поняла, что ее злоба приведет лишь к тому, что она никогда уже не увидит Гёте и тем самым ее великая любовь к бессмертному превратится в ничтожный эпизод, обреченный на забвение. И потому она принудила добряка Арнима напи-

сать Гёте письмо и попытаться попросить за нее извинения. Но письмо осталось без ответа. Супруги Арним покинули Веймар, а в январе 1812 года посетили его снова. Гёте не принял их. В 1816 году умерла Христиана, и вскоре Беттина послала Гёте длинное письмо, полное смирения. Гёте безмолвствовал. В 1821 году, то есть десять лет спустя после их последней встречи, она приехала в Веймар и явилась к Гёте, который в тот вечер принимал гостей и не мог не позволить ей войти в дом. Однако он не обмолвился с ней ни единым словом. В декабре того же года она написала ему еще раз. И не получила никакого ответа.

В 1823 году советники франкфуртского магистрата решили воздвигнуть памятник Гёте и заказали его некоему скульптору Рауху. Эскиз не понравился Беттине, и она вмиг поняла, что судьба дарует ей случай, какой нельзя упустить. Не умея рисовать, она, однако, в ту же ночь взялась за работу и начертила собственный проект скульптуры: Гёте сидел в позе античного героя, в руке держал лиру, между его колен стояла девушка, представляющая собой Психею; а волосы его походили на языки пламени. Рисунок она послала Гёте, и тут произошло нечто совершенно невообразимое: на глаза Гёте навернулась слеза! Итак, спустя тринадцать лет (случилось это в июле 1824-го, ему было семьдесят пять, а ей тридцать девять) он принял ее у себя и, несмотря на то что держал себя чопорно, дал ей понять, что все прощено и пора презрительного молчания позади.

Мне представляется, что на этой стадии оба протагониста пришли к холодно провидческому пониманию ситуации: оба знали, что для каждого из них важно, и каждый знал, что другой это знает. Своим рисунком Беттина впервые недвусмысленно обозначила то, что с самого начала содержалось в игре: бессмертие. Беттина этого слова не произнесла, разве что беззвучно коснулась его, как касаются струны, которая затем тихо и долго звенит. Гёте услышал. Началу он был лишь глупо польщен, но постепенно (когда уже утер слезу) стал постигать истинный (и менее лестный) смысл Беттининого послания: она дает ему знать, что прежняя игра продолжается; что она не отступила; что это она сошьет ему торжественный саван, в котором он предстанет перед потомством; что он ничем не будет препятствовать ей в том и менее всего – своим упрямым молчанием. Он снова вспомнил то, что давно знал: Беттина опасна и потому лучше держать ее под ласковым присмотром.

Беттина знала, что Гёте знает. Это вытекает из их последующей встречи осенью того же года; она сама описывает ее в письме, посланном племяннице: вслед за приветствием, пишет Беттина, Гёте «сперва стал брюзжать, потом же обласкал меня словами, чтобы вновь снискать мою приязнь».

Можем ли мы не понять Гёте! С беспощадной очевидностью он почувствовал, как она действует ему на нервы, и вознегодовал на самого себя, что нарушил это восхитительное тринадцатилетнее молчание. Он стал с ней спорить, словно хотел одним махом выложить ей все, что у него накопилось против нее. Но тут же одернул себя: почему он откровенен? почему говорит ей, что думает? Прежде всего важна его решимость: нейтрализовать ее; усмирять ее; держать ее под присмотром.

По меньшей мере раз шесть в течение их разговора, рассказывает далее Беттина, Гёте под разными предлогами удалялся в соседнюю комнату, где украдкой пил вино, о чем она догадалась по его дыханию. Наконец она, смеясь, спросила его, почему он ходит пить украдкой, и он обиделся.

Много любопытнее, чем удалявшийся пить вино Гёте, представляется мне Беттина; она вела себя не так, как вели бы себя вы или я: забавляясь, мы бы следили за Гёте и при этом тактично и уважительно молчали. Сказать ему то, что иные не посмели бы и выговорить («Твое дыхание отдает алкоголем! почему ты пил? и почему пил украдкой?»), для нее было способом силой вырвать из него часть его сокровенной сути, оказаться с ним в самом тесном соприкосновении. В ее агрессивной бестактности, право на которую она всегда присваивала себе, пользуясь маской ребенка, Гёте вдруг обнаружил ту Беттину, какую еще тринадцать лет назад

решил никогда больше не видеть. Молча поднявшись, он взял лампу; это было знаком того, что свидание окончено и что теперь он намерен проводить посетительницу по темному коридору к дверям.

Тогда, продолжает Беттина в своем письме, чтобы помешать ему выйти, она преклонила на пороге колени, лицом к комнате, и сказала: «Я хочу знать, в силах ли я удержать тебя и дух ли ты добра или дух зла, подобно крысе Фауста; я целую и благословляю порог, который каждодневно переступает величайший из умов и одновременно мой наилучший друг».

А что сделал Гёте? Я опять слово в слово цитирую Беттину. Он якобы сказал: «Чтобы выйти, я не наступлю ни на тебя, ни на твою любовь; твоя любовь мне слишком дорога, что же касается твоего духа, я проскользну мимо него (он и вправду осторожно обошел колени-преклоненную Беттину), потому что ты слишком хитра и лучше остаться с тобою в добром согласии!»

Фраза, которую Беттина вложила ему в уста, подытоживает, как мне кажется, все, что Гёте во время их встречи мысленно говорил ей: знаю, Беттина, что эскиз памятника был твоей гениальной хитростью. В своей прискорбной дряхлости я позволил себе растрогаться, увидев свои волосы, уподобленные пламени (ах, мои жалкие, поредевшие волосы!), но тут же следом уяснил себе: то, что ты хотела явить мне, был не эскиз, а пистолет, который ты держишь в руке, чтобы стрелять в дальние просторы моего бессмертия. Нет, я не сумел обезоружить тебя. Поэтому я не хочу никакой войны. Я хочу мира. Ничего, кроме мира. Я осторожно обойду тебя и не коснусь тебя, не обниму, не поцелую. Во-первых, мне этого не хочется, а во-вторых, знаю, что все, что ни сделаю, ты сумеешь превратить в патроны для своего пистолета.

10

Два года спустя Беттина вновь приехала в Веймар; она чуть ли не каждый день виделась с Гёте (тогда ему было семьдесят семь), а в конце своего пребывания, пытаясь попасть ко двору Карла-Августа, допустила одну из своих очаровательных дерзостей. И произошло нечто непредвиденное. Гёте взорвался. «Этот докучливый слепень (*diese leidige Bremse*), – пишет он великому герцогу, – который достался мне в наследство от моей матушки, вот уже много лет нестерпимо донимает меня. Нынче она вновь принялась за старую игру, которая так шла ей в дни юности; вновь щебечет о соловьях и трещит как сорока. Ежели Ваше Высочество изволят приказать, то я на правах дядюшки со всей строгостью воспрещу ей всякое дальнейшее посягательство на Ваше время. Иначе Ваше Высочество никогда не будут ограждены от ее настырности».

Шестью годами позже она еще раз появилась в Веймаре, но Гёте не принял ее. Сравнение Беттины с докучливым слепнем осталось его последним словом во всей их истории.

Странная вещь. С тех пор, что он получил эскиз памятника, он приказал себе сохранять с нею мир. Хотя уже одно ее присутствие вызывало у него аллергию, он тщился тогда сделать все (даже ценой того, что изо рта у него пахло алкоголем), чтобы провести с ней вечер до конца «в добром согласии». Так почему же он вдруг готов обратить все усилия в дым? Он столь заботился о том, чтобы не отойти в бессмертие в помятой рубашке, – так почему же вдруг он написал эту страшную фразу о докучливом слепне, в которой будут его укорять спустя сто, спустя триста лет, когда уже никто не будет читать ни «Фауста», ни «Страданий юного Вертера»?

Попробуем разобраться в циферблате жизни.

До определенного времени наша смерть представляется нам чем-то слишком далеким, чтобы погружаться в нее. Ее не видно, она невидима. Это первый, счастливый период жизни.

Но затем мы вдруг начинаем зреть свою смерть перед собой и уже не в силах избавиться от мысли о ней. Она с нами. А поскольку бессмертие держится смерти, как Гарди – Лорела, мы

можем сказать, что с нами и наше бессмертие. С той минуты, как мы узнаем, что оно с нами, мы начинаем горячо радеть о нем. Мы заказываем для него смокинг, покупаем для него галстук из боязни, что платье и галстук для него выберут другие, причем выберут неудачно. Это пора, когда Гёте решает писать свои мемуары, свою прославленную «Поэзию и правду», когда приглашает к себе преданного Эккермана (странное совпадение дат: происходит это в том же 1823 году, когда Беттина посылает ему проект памятника) и понуждает его писать «Разговоры с Гёте», этот великолепный портрет, созданный под любезным контролем портретируемого.

За этим вторым периодом жизни, когда человек не в состоянии оторвать глаз от земли, приходит третий период, самый прекрасный и самый таинственный, о котором мало знают и мало говорят. Силы убывают, и человеком овладевает обезоруживающая усталость. Усталость: тихий мост, перекинутый с берега жизни на берег смерти. Смерть так близка, что вид ее уже сделался скучен. Она снова стала невидимой и невидной: невидной, как не видны предметы, слишком близко знакомые. Усталый человек смотрит из окна, видит кроны деревьев и про себя твердит их названия: каштан, тополь, клен. И эти названия прекрасны, как само бытие. Тополь высок и похож на атлета, что протянул руку к небу. Или похож на пламя, что выбилось и застыло. Тополь, ах тополь. Бессмертие – это смешная иллюзия, пустое слово, ветер, пойманный в сачок, если сравним его с красотой тополя, на который взирает из окна усталый человек. Бессмертие вообще уже тревожит усталого старого человека.

А что делает усталый старый человек, взирающий на тополь, когда вдруг появляется женщина, которая жаждет садиться на стол, преклонять на пороге колени и возглашать софизмы? Во внезапном приливе жизненности, с невыразимой радостью он называет ее докучливым слепнем.

Я думаю о той минуте, когда Гёте писал слова «докучливый слепень». Я думаю об удовольствии, которое он при этом испытывал, и представляю себе, что он вдруг тогда осознал: он никогда в жизни не поступал так, как ему хотелось. Он считал себя правителем своего бессмертия, и эта ответственность сковывала его, делала его чопорным. Он боялся эксцентричностей, хотя его сильно влекло к ним, а если, случалось, и допускал что-либо подобное, то силился задним числом упорядочить дело так, чтобы ничто не выпирало из той улыбочивой умеренности, какую он некогда отождествлял с красотой. Слова «докучливый слепень» не вязались ни с его творениями, ни с его жизнью, ни с его бессмертием. В этих словах была чистейшая свобода. Их мог написать только человек, оказавшийся уже в третьем периоде своей жизни, когда перестаешь управлять своим бессмертием и считать его делом серьезным. Не всякий доходит до этой крайней черты, но тот, кто доходит, знает, что только там – истинная свобода.

Эти мысли пролетели в сознании Гёте, но он тотчас забыл о них, так как был уже старым, усталым человеком со слабеющей памятью.

11

Вспомним: впервые она пришла к нему в обличье ребенка. По прошествии двадцати пяти лет, в марте 1832-го, узнав, что Гёте серьезно занемог, тотчас отослала к нему своего собственного ребенка: восемнадцатилетнего сына Зигмунда. Робкий юноша по настоянию матери оставался в Веймаре шесть дней, вовсе не зная, о чем идет речь. Но Гёте знал: она направила к нему своего посланца, который одним своим присутствием должен был дать понять ему, что смерть топчется за дверью и что с этой минуты его, Гёте, бессмертие Беттина берет в свои руки.

Затем смерть перешагнула порог; после недельной борьбы с ней, 22 марта, Гёте умирает, а несколькими днями позже Беттина пишет исполнителю последней воли Гёте канцлеру фон Мюллеру: «Конечно, смерть Гёте произвела на меня глубокое, неизгладимое впечатление, но несколько не впечатление скорби. Если я и не могу выразить словами подлинную правду того,

что чувствую, то все же, пожалуй, в наибольшей мере приближусь к ней, коли скажу: впечатление славы».

Обратим особое внимание на это Беттинино уточнение: никоим образом не скорбь, а слава.

В скором времени она просит того же канцлера фон Мюллера прислать ей все письма, кои она когда-либо написала Гёте. Прочитав их, она испытала разочарование: вся ее история с Гёте явилась ей всего лишь наброском, наброском хоть и к великому творению, но все же наброском, и весьма несовершенным. Необходимо было приняться за работу. На протяжении трех лет она правила, переписывала, дописывала. Если она была недовольна собственными письмами, письма Гёте удовлетворяли ее еще меньше. Когда она теперь перечитала их, ее оскорбила их лаконичность, сдержанность, а подчас даже дерзость. Словно в самом деле приняв маску ребенка за ее истинное лицо, он подчас писал ей так, будто давал снисходительные наставления школьнице. Посему ей пришлось изменить их тональность: там, где он называл ее «дорогой друг», она заменила на «сердце мое», вопреки его смягчила лестными приписками и добавила фразы, кои должны были свидетельствовать о ее власти Вдохновительницы и Музы над очарованным поэтом.

Разумеется, еще радикальнее она переписывала собственные письма. Нет, тональности она не меняла, тональность была правильной. Но изменяла, к примеру, датировку их написания (дабы исчезли долгие паузы в их переписке, которые ставили бы под сомнение постоянство их страсти), изъела много неуместных пассажей (к примеру, тот, в котором просила Гёте никому не показывать ее писем), другие пассажи добавила, драматизируя описанные ситуации, придавала большую глубину своим взглядам на политику, на искусство, особенно на музыку и на Бетховена.

Книгу она закончила в 1835 году и опубликовала ее под названием «Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde». «Переписка Гёте с ребенком». Никто не усомнился в истинности переписки вплоть до 1921 года, когда были найдены и изданы подлинные письма.

Ах, почему она вовремя не сожгла их?

Вообразите себя на ее месте: нелегко сжечь интимные бумаги, которые дороги вам, – это не иначе как признаться, что долго вы здесь уже не задержитесь, что завтра умрете; и оттого акт уничтожения откладываете со дня на день, пока однажды не становится поздно.

Человек помышляет о бессмертии и забывает помыслить о смерти.

12

Сегодня, с расстояния, какое предоставил нам конец нынешнего столетия, мы, пожалуй, можем осмелиться сказать: Гёте – фигура, расположенная точно посередине европейской истории. Гёте: великая середина. Но отнюдь не середина – пугливая точка, что осмотрительно избегает крайностей, нет, крепкая середина, что держит обе крайности в редкостном равновесии, какого затем Европа уже никогда не узнает. Гёте еще смолodu изучает алхимию, а позже становится одним из первых современных ученых. Гёте – величайший из всех немцев и одновременно антипатриот и европеец. Гёте – космополит и одновременно всю жизнь почти не покидает своей провинции, своего маленького Веймара. Гёте – человек природы, но и человек истории. В любви он настолько же либертин, насколько и романтик. И еще:

Вспомним Аньес в лифте, что трясся, будто у него была пляска святого Витта. И хотя она разбиралась в кибернетике, однако никак не могла объяснить себе, что творится в техническом мозгу этой машины, которая была столь же чужда и непроницаема для нее, как и механизм всех предметов, с какими она каждодневно соприкасалась, от маленького компьютера, поставленного у телефона, до посудомойки.

Гёте, напротив, жил в ту короткую пору истории, когда технический прогресс уже приносил жизни определенные удобства, но когда образованный человек еще способен был осмыслить все устройства, какими пользовался. Гёте знал, из чего построен дом, в котором жил, знал, почему светит керосиновая лампа, знал устройство телескопа, в который с Беттиной наблюдал за Меркурием; хотя он сам не умел оперировать, но ассистировал при нескольких операциях, а когда бывал болен, мог разговаривать с доктором языком специалиста. Мир технических предметов был понятен ему и полностью открыт его взору. То было великое Гётево мгновение посреди европейской истории, мгновение, после которого останется рубец тоски на сердце человека, плененного дергающимся и танцующим лифтом.

Творчество Бетховена начинается там, где кончается великая Гётева середина. Оно размещается во времени, когда мир начинает постепенно терять свою прозрачность, мутнеет, становится все более непостижимым, мчится в неведомое, в то время как человек, преданный миром, бежит в самого себя, в свою тоску, в свои мечтания, в свой бунт и дает оглушить себя голосом своей больной души до такой степени, что уже не слышит голосов, обращающихся к нему извне. Этот крик души звучал для Гёте невыносимым гамом. Гёте ненавидел шум. Это известно. Он не переносил даже собачьего лая в отдаленном саду. Говорят, он не любил музыки. Это ошибка. Чего он не любил, так это оркестра. Он любил Баха, поскольку тот еще понимал музыку как прозрачное созвучие самостоятельно ведомых голосов, каждый из которых можно различить. Но в бетховенских симфониях отдельные голоса инструментов растворялись в звуковой амальгаме крика и рыданий. Гёте не выносил рева оркестра в той же мере, в какой не выносил громких стонов души. Молодые Беттиныны друзья замечали, с какой неприязнью смотрит на них божественный Гёте и как он затыкает уши. Этого простить они ему не могли и ополчались на него как на противника души, бунта и чувства.

Беттина была сестрой поэта Brentano, женой поэта Arnim и почитала Бетховена. Она принадлежала к поколению романтиков, но одновременно была и приятельницей Гёте. Такого положения не было ни у кого другого: это была королева, властвующая в двух королевствах.

Ее книга была великолепной данью почтения к Гёте. Все ее письма были не чем иным, как единой *песнью* любви к нему. Да, но поскольку все знали про очки, сброшенные с нее госпожой Гёте на пол, и о том, что Гёте тогда позорно предал любящее дитя в угоду «бешеной колбасе», эта книга одновременно (и куда более) являет собой *урок* любви, преподанный покойному поэту, который перед лицом великого чувства повел себя как трусливый филистер и пожертвовал страстью ради убогого семейного покоя. Книга Беттины была одновременно и данью почтения, и оплеухой.

13

В год смерти Гёте Беттина в письме своему другу князю Герману фон Пюклеру-Мускау поведала, что произошло летом двадцать лет назад. Узнала она это якобы от самого Бетховена. В 1812 году (десять месяцев спустя после черных дней разбитых очков) он приехал ненадолго в Теплице, где впервые тогда встретился с Гёте. Однажды они вместе отправились на прогулку. Они шли вдоль курортной аллеи, как вдруг впереди появилась французская императрица Мария-Луиза с семьей и придворными. Гёте, увидев их, перестал внимать словам Бетховена, отошел на обочину дороги и снял шляпу. Бетховен же надвинул свою шляпу еще ниже на лоб, нахмурился так, что его густые брови выросли еще на несколько сантиметров, и двинулся дальше, не замедляя шага. И посему это они, аристократы, вынуждены были остановиться, уступить дорогу и раскланяться. Только отойдя от них на некоторое расстояние, Бетховен повернулся, дабы подождать Гёте. И высказал ему все, что думает о его унижительном лакейском поведении. Он выбрал его, как сопливого мальчишку.

Действительно ли произошла эта сцена? Выдумал ли ее Бетховен? От начала до конца? Или только украсил ее? Или украсила ее Беттина? Или сама от начала до конца ее выдумала? Этого уже никто никогда не узнает. Определенно все же одно: когда она писала письмо Пюклеру-Мускау, она поняла, что эпизод этот недооценен. Только он был способен раскрыть истинный смысл истории ее любви с Гёте. Но как придать ему огласку? «Нравится тебе этот эпизод, как я рассказываю его?» – спрашивает она в своем письме Германа фон Пюклера. – «Kannst Du sie brauchen?» Можешь ли ты им воспользоваться? – Князь не намеревался воспользоваться им, и потому Беттина увлеклась идеей опубликовать свою переписку с князем; однако затем ее осенило нечто получше: в 1839 году она опубликовала в журнале «Атенеум» письмо, в котором тот же эпизод рассказывает ей сам Бетховен. Оригинал этого письма, датированного 1839 годом, так никогда и не был найден. Осталась лишь копия, написанная рукой Беттины. Там имеются несколько деталей (к примеру, дата письма), свидетельствующих о том, что Бетховен этого письма никогда не писал или, по меньшей мере, не написал его в том виде, в каком Беттина переписала его. Но вне зависимости от того, сфальсифицировано письмо полностью или наполовину, анекдот этот очаровал всех и стал знаменитым. И вдруг все прояснилось: если Гёте и предпочел «колбасу» великой любви, то это было явно не случайно: в то время как Бетховен – бунтарь, идущий вперед, низко надвинув на лоб шляпу и заложив руки за спину, Гёте – прислужник, униженно кланяющийся на обочине аллеи.

14

Беттина сама занималась музыкой, даже написала несколько сочинений и, стало быть, обладала определенными данными, чтобы понять, что было в бетховенской музыке нового и прекрасного. И все же я задаю вопрос: захватывала ли ее бетховенская музыка сама по себе, своими нотами, или, скорее, тем, что она *являла собой*, то есть своей туманной родственностью с мыслями и взглядами, которые разделяла Беттина со своими поколенческими друзьями? Существует ли вообще любовь к искусству и существовала ли когда-либо? Не обман ли это? Когда Ленин объявил, что более всего любит бетховенскую «Аппассионату», что, собственно, он любил? Что он слышал? Музыку? Или величественный грохот, который напоминал ему помпезные движения его души, взыскующей крови, братства, казней, справедливости и абсолюта? Испытывал ли он радость от звуков или от мечтаний, которые рождали в нем звуки и которые не имели ничего общего ни с искусством, ни с красотой? Вернемся к Беттине: привлекал ли ее Бетховен – музыкант или Бетховен – великий Анти-Гёте? Любила ли она его музыку тихой любовью, какая нас связывает с единственной чарующей метафорой или с сочетанием двух красок на картине? Или, скорее, той самой захватнической страстью, с какой мы объявляем себя сторонниками политической партии? Но как бы то ни было (мы никогда не узнаем, как это было на самом деле), Беттина выпустила в мир образ Бетховена, шагающего вперед в шляпе, низко надвинутой на лоб, и этот образ шел затем уже сам по себе сквозь века.

В 1927 году (спустя сто лет после смерти Бетховена) известный немецкий журнал «Литерарише вельт» обратился к выдающимся современным композиторам с просьбой сказать, что для них значит Бетховен. Редакция не предполагала, какой это станет посмертной казнью для хмурого человека в надвинутой на лоб шляпе. Орик, член парижской «Шестерки», заявил от имени своей генерации: Бетховен безразличен им до такой степени, что даже нет смысла спорить о нем. Будет ли он однажды вновь открыт и вновь оценен, как сто лет назад Бах? Исключено. Смешно! Яначек также утверждал, что творчество Бетховена никогда его не вдохновляло. А Равель резюмировал это так: он не любит Бетховена, поскольку его слава основана отнюдь не на его музыке, которая явно несовершенна, а на литературной легенде, созданной вокруг его жизни.

Литературная легенда. В нашем случае она зиждется на двух шляпах: одна низко надвинута на лоб, и из-под нее торчат огромные брови; другая в руке человека, отвешивающего низкий поклон. Фокусники любят работать со шляпой. Они дают предметам исчезнуть в ней или выпускают из нее стаю голубей под потолок. Беттина выпустила из шляпы Гёте безобразных птиц его униженности и дала исчезнуть в шляпе Бетховена (а этого она определенно не хотела!) его музыке. Она уготовила Гёте то, что досталось Тихо Браге и Картеру: смешное бессмертие. Однако смешное бессмертие подстерегает всех, и для Равеля Бетховен в надвинутой на самые брови шляпе был смешнее, чем Гёте, отвешивающий низкий поклон.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.